

ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ

71

СОДЕРЖАНИЕ

С Рождеством Христовым!	1
В.Пирожкова. Второй этап ликвидации советской власти	3
Интервью с советником президента по науке и высшему образованию Николаем Малышевым	
<i>Беседу вела В.Пирожкова</i>	10
В.Илюшенко. Выступление на международной конференции по цензуре	12
Д.Штурман. "Общественное идеологическое поле" России	16
Протоиерей Д.Константинов. Миссия российской эмиграции	20
Б.Бруцкус. Советская Россия и социализм	
<i>Публикация В.Кагана</i>	24
Р.Гуардини. Религиозные образы в творчестве Достоевского (<i>Продолжение</i>)	35

ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ

№71

Декабрь 1993 г.

Мюнхен

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Всех наших сотрудников и читателей-христиан поздравляем с великим праздником Рождества Христова и желаем им в новом 1994 году всего хорошего.

Господь готовил людей и, прежде всего, народ израильский к великому чуду Воплощения. Сначала должен был начать действовать последний ветхозаветный пророк, Иоанн Предтеча.

В Евангелии от Луки об этом так рассказывается: "В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. А все множество народа молилось вне во время каждения, — тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн, и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются; ибо он будет велик перед Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израиля обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный."

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, получил задание от Бога приготовить путь для Иисуса Христа.

Как было предсказано, Иоанн еще в чреве матери исполнился Духа Святого. Когда Мария, получив благовестие от Ангела Гавриила, что в Ней будет зачат Младенец от Духа Святого, пошла к Елисавете, которая была на седьмом месяце беременности, тогда разыграл младенец в ее чреве, и она, сразу поняв, что это

значит, воскликнула: "И откуда мне, что пришла Матерь Господа Моего ко мне?"

Иоанн Креститель проповедовал грядущее пришествие Иисуса Христа и крестил людей. Он проповедовал милосердие и скромность, говорил: "у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого пища, поступай также". А воинам сказал: "никого не обижайте, не клеветайте и довольствуйтесь своим жалованьем".

Но, когда его спросили, не Христос ли он, он ответил отрицательно, он сказал: "Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руках Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым".

Иоанн обличал царя Ирода за то, что он взял жену от брата своего и женился на ней. За это Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу. Мы читаем об этом в Евангелии от Марка: "Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, хотела убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским — дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, я дам тебе. И клялся ей, чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас же пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь приказал принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее

матери своей”.

Когда я была в Третьяковской галерее в Москве, то перед картиной “Усекновение главы Иоанна Крестителя” я спросила немолодого посетителя, кто же был Иоанн Креститель. Тот ответил, что Иоанн Креститель крестил Россию. А тоже немолодая посетительница сказала, что это что-то из Средневековья. Отсутствие элементарной культуры совершенно поразительно. Ведь не надо быть верующим христианином, чтобы знать эту историю. Посетители, с которыми я говорила, были не первый раз в Третьяковской галерее, и у них никогда не возникло даже элементарного любопытства по поводу того, кто же изображен на этих знаменитых картинах.

Не раз мне приходилось слышать от русских в России: “Я – верующий или верующая, но Евангелия читать не могу, я ничего не понимаю”. Сколько эти люди кладут труда на то, чтобы по возможности хорошо прожить эту короткую, быстротекущую земную жизнь. Но эти же люди не хотят дать себе ни малейшего труда для обретения жизни вечной. Сын Божий совершил великое дело неизреченной любви к людям. Он не только воплотился в маленького беззащитного ребенка, не только взял на Себя все тягости и трудности земной жизни, детства, роста, труда и бедности, но Он взял на себя страшную крестную смерть для спасения людей, для нашего спасения, для спасения каждого из нас. А тут не хотят многие взять на себя такой небольшой труд: вчитаться в Евангелие. Можно, например, начать с Евангелия от Луки, где совсем просто рассказывается чудо рождения Божественного Младенца. Что здесь непонятно? Может быть, не хватает воображения, чтобы представить себе, – сначала хотя бы только представить, – что это чудо могло произойти? Но в этом надо упражняться. Ведь никто не думает, что можно, скажем, хорошо играть на рояле без упражнений. Никто не думает, что можно построить мост или здание, не упражняясь сначала в учебных заведениях, решая задачи по математике, по механике и пр., а потом на стройке, начиная с азов. Но почему же думают, что понять сущность мира, созданного Творцом, что понять Самого Творца, понять воплощение Его Сына и Самого Сына можно так, с наскока. Взял в руки Евангелие, полистал, не сразу все понял и отложил снова, чтобы никогда больше не взять в руки. А надо читать слово за словом, вдумываться, вчитываться, постараться достать толкование или комментарии, что теперь уже можно. Так постепенно откроется вся глубина этой маленькой книжечки.

Жизнь проходит быстро. В ней так многое кажется важным, незаменимым, необходимым. Но в смертный час, перед лицом Господа

становится ясным, что все это была суета сует, что с собой через великий рубеж не возьмешь ничего из того, что казалось столь важным. Взять можно только те сокровища, которые собраны на небе. Как говорит Иисус Христос: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровища ваше, там будет и сердце ваше”. А что если сердце до конца будет только с земными сокровищами? Как войдет человек в жизнь вечную с такой отягощенной душой?

Священникам и мирянам, знающим Евангелие, надо было бы в первую очередь заниматься разъяснением азов, чтобы хотя часть людей, занятых сейчас всяческой суетой, смогли понять хотя бы основы христианства и, начиная с них, продвигаться постепенно к его сущности. Но хотя бы достичь того, чтобы никто не считал апостола Петра русским (см. № 70 “Г.З.” С.Иваненко “Религия и политика в современной России”). Назвать себя верующим легко, но далеко не все, кто так себя называет, действительно верующие. Нельзя веровать в то, чего даже не знаешь. Неопределенные религиозные чувства – это еще не христианская вера. Конечно, знание основ христианства – это тоже еще не вера. Можно быть даже ученым богословом и все же быть неверующим. Знание основ христианства – это, однако, фундамент, на котором основывается вера. Вера – это совершенно иное, чем обычное мирское, восприятие мира. Это сознание, что Бог – Создатель этого мира, что Он реальнее мира, имеющего реальность, но вторичную, полученную из руки Божией. Вера – это жизнь. Не только этическая жизнь, что является тоже предпосылкой, фундаментом, как и знание, но жизнь во Христе, такая жизнь, когда человек стремится творить то, чего ожидает от него Христос. Конечно, человек будет часто ошибаться, но если он заранее соглашается на то, чего от него хочет Христос, хотя и знает, что он часто будет несовершенен и часто не сумеет или не сможет сделать того, что нужно, не поймет, чего от него ждет Христос, или даже, поняв, не сумеет одолеть свою человеческую слабость, все же тогда он все в большей степени будет входить в линию руководства им и его жизнью Христом. На земле добиваются совершенства лишь очень немногие святые, но начало для будущей вечной жизни в Божием свете может заложить каждый. Неужели не стоит усилий жизнь вечная? Христос пришел на землю, чтобы предложить людям доброй воли божественный путь. Вспомним об этом в день Рождества Христова.

Редакция

В. Пирожкова**ВТОРОЙ ЭТАП ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ**

В августе 1991 г. пала коммунистическая диктатура, но советские структуры еще сохранились. Остался Верховный совет, который многие по ошибке называли парламентом. Осталась вся система местных советов. В них были люди, "избранные" еще до свержения комдиктатуры и мыслившие в прежних категориях. Конечно, среди них нашлись и такие, которые поняли урок истории и начали перестраивать свое мышление, но их, в общем, было меньшинство.

Кроме того, еще оставалась прежняя брежневская конституция. Мы много раз писали о несуразности конституции, отвечавшей еще коммунистическим нормам и кое-как перекроенной и подштопанной для новой демократии. Ее статьи нередко противоречили друг другу, так что каждый мог выбирать себе ту, которая была ему больше по вкусу. С одной стороны, в перекроенную конституцию было вписано, например, разделение властей, с другой же стороны, оставалась неприкосновенной статья, где объявлялось, что вся власть принадлежит советам. Вот и выбирай, что хочешь.

Слишком известно, и мы много раз писали это в наших статьях, что присмиревший было под влиянием августовских событий Верховный совет начал постепенно захватывать власть в свои руки. А там, где ему это не удавалось, он всячески мешал и препятствовал деятельности президента и правительства, направленной на проведение в стране реформ. Менять конституцию имел право только съезд, и то двумя третями голосов. Этот съезд за два года внес в конституцию 320 поправок. Но постепенно Верховный совет перестал считаться и со съездом и начал сам кроить конституцию "под себя". С кворумом совет уже тоже больше не считался: присутствовавшие депутаты нажимали много кнопок за отсутствующих, хотя принятые таким способом решения были незаконны по той же конституции, о которой так много говорил спикер совета Р.Хасбулатов. В свою очередь, правительство старалось не обращать внимания на незаконно принимавшиеся советом законы и толкать вперед реформы, которые пытался затормозить совет.

Если совету не удалось полностью подчинить себе исполнительную власть, то судебную власть совет подмял под себя: Конституционный суд, особенно его председатель Валерий Зорькин, полностью подчинялись совету. Этот суд стал политическим форумом, а не судебной коллегией. Во время референдума 25 апреля 1993 г. Конституционный суд искусственно охранял съезд и Верховный совет от прежде-

временных выборов, за которые был народ.

Страна заходила в тупик. Совет без всякого на это права исключил из своего состава всех сторонников реформ и, согласно ленинскому тезису "чем хуже, тем лучше", принял дефицитный бюджет, который, будь он введен в действие, вконец разорил бы страну. Президент не подписал этого бюджета и направил его обратно в совет, но не подписать он имел право только один раз. Если б совет принял этот страшный бюджет вторично, то он бы обрел законную силу, хотя у совета, по существу, уже не было кворума. Надо было как-то выходить из тупика. Между тем становилось все яснее, что совет только прикрывается конституцией и законом, а на самом деле давно наладил связь с коммунистами и их союзниками, преимущественно нацистами, хотя и некоторыми правыми, и вооружается. Во всякой нормальной стране вооруженные силы подчиняются исполнительной власти, а законодательная власть не имеет своего оружия и своих войск. Верховный совет, однако, вооружился до зубов.

Мы много раз писали, что третьей силы в России нет. Противостоят две силы, одна, которую суммарно можно назвать антикоммунистической, направленной на преодоление остатков коммунистической системы, направленной на будущее и олицетворяемой президентом Ельциным и его командой, и сила коммунистическая, направленная на восстановление прошлого, на восстановление коммунистической диктатуры, возможно, в национал-коммунистической, национал-большевистской форме, на восстановление СССР, именно СССР, а не Российской империи и уж никак не создание Святой Руси.

21 сентября президент решился, наконец, разрубить гордиев узел, подписав указ о роспуске Верховного совета и назначив новые выборы уже в Государственную Думу на 12 декабря, т. е. в течение ближайших трех месяцев. Это был единственный выход.

Формально этот указ нарушал штопаную брежневскую конституцию, – кстати, от той конституции, которой два с половиной года назад присягал президент, остались, благодаря деятельности съезда и Верховного совета рожки да ножки, она вся была перекроена, и президент даже формально не обязан был с нею считаться, особенно после многих нарушений со стороны съезда и совета ими же созданной конституции в том ее виде, в каком она существует сейчас.

Верховный совет самораспуститься не захотел, созвал внеочередной съезд, который, ко-

нечно, не набрал кворума, но, тем не менее, был объявлен Хасбулатовым как имеющий кворум, и затем начался всем известный фарс: низложение президента Ельцина и объявление Руцкого новым президентом. И сейчас же коммуно-фашистские, вернее, коммунистические силы почуяли для себя возможность вооруженного выступления и потянулись к обкарнанному совету и к двум столь различным лицам как Руцкой и Хасбулатов, взявших на себя роль руководителей мятежа.

Газету "День", давно призывавшую к мятежу, насилию, восстановлению концлагерей и которую в любой демократии уже раньше бы запретили, наконец, закрыли 27 сентября. Тем не менее, она еще раз вышла в свет за датой 1–7 октября, но еще до начала вооруженного мятежа. Перед Белым домом собралась толпа с красными флагами и портретами Сталина, чтобы защищать группу мятежных депутатов. Белый дом оцепили милицией, т.к. туда начали пронести новое оружие. Уже упомянутая газета "День" ясно расставила акценты: нам совсем не нравятся ни Руцкой, ни Хасбулатов, но враг моего врага мне друг и обоих вполне можно использовать для своих целей. В "Дне" Лимонов сообщает, что подписывает заявление протеста против роспуска совета седьмым от национал-большевистской партии. Он подчеркивает, что он был седьмым, вероятно, для символики: Гитлер получил седьмой билет, когда вступал в национал-социалистическую партию. Но Лимонову не стать Гитлером, тот был страшен, а этот смешон. В том же "Дне" пропагандируется рок-музыка под названием "Русское сопротивление". Главного музыканта этой рок-музыки, Егора Летова, газета спрашивает: "Националист ли ты?" Он отвечает: "Я – СОВЕТСКИЙ НАЦИОНАЛИСТ. Моя родина – не просто Россия, идею которой отстаивают и полируют разные серьезные мужи, я не россиянин, хотя и натурально русский. Родина моя – СССР. Россия – это дело местное, такое же как Германия, Франция, Китай и прочие отдельные государства. СССР – это первый и великий шаг вдале, вперед, в новое время, в новые горизонты. СССР – это не государство, это – идея, рука, протянутая для рукопожатия, и слава и величие России в том, что она впервые в истории человечества взяла на себя горькую и праведную миссию прорыва сквозь тысячелетнее прозябание и мракобесие, одиночества человека – к великому единению – человечеству. Я верю, верую во всемирную, вселенскую революцию и готов воевать за нее и словом и делом... В 1917 г. наша страна сделала первый шаг по пути к истине – да не бывать ему последним!" Заявление совсем ясное. Статья, в которой содержатся эти высказывания, называется "Они не пройдут" – читатель помнит,

что это был лозунг испанских коммунистов во время гражданской войны в Испании, – а заканчивается статья словами: "ВСТАВАЙТЕ, ТОВАРИЩИ!" Все ясно. Только почему они назвали свой рок "Русское сопротивление"? Надо было назвать "Советское сопротивление". Россия им так же не нужна, как она не была нужна Ленину. Их идеал по-прежнему мировая революция, мировой коммунизм, а Россия – частный случай, не все ли равно, что с ней будет. Обратим же их лозунг против них самих: они не прошли в октябре этого года, они не пройдут и в будущем.

И в этом же номере "Дня", так сказать, под лозунгом мирового коммунизма, опубликовано "Слово художников", где о коммунистической брежневской конституции говорится необыкновенно высокопарно как об Основном Законе государства, "в котором содержатся гарантии личной и общественной безопасности, связи, сочетания человека с человеком, гражданина с обществом". И эту типично большевистскую брехню и воззвание немедленно восстановить брежневский Основной Закон рядом с национал-большевиком Э.Лимоновым подписали такие лица как Ю.Бондарев, В.Белов, В.Распутин, Л.Бородин, В.Крупин, С.Куняев, В.Бондаренко, А.Проханов, А.Невзоров, В.Кожин, С.Говорухин, И.Шафаревич, о. Д.Дудко, А.Зиновьев, А.Казинцев. Есть там и другие подписи, но мы выписали только наиболее известные имена. Нам больно, что в эту большевистскую компанию попал Л.Бородин. Писатель, создавший овеянную поэзией байкальских преданий книгу "Год чуда и печали", написавший ряд талантливых романов и рассказов, носивших антикоммунистический характер, теперь в одном ряду с большевиками и коммунистами. Подписавшийся рядом с ним Лимонов в той же газете пишет, что прежде у "наших" не хватило смелости выбрать себе президента, и добавляет: "Сегодня это сделано. Но нас беспокоит оперативная инертность переворота, то, что он не превращается в мятеж, а замкнулся в Белом доме".

Ну что ж, Руцкой их ожидания оправдал. Он уже прежде возвестил восстановление СССР, конечно, пока на словах, но ясно, что за это восстановление пришлось бы драться со всеми отделившимися республиками, т.е. выбрать югославский вариант, между тем как эти республики уже добровольно стали искать сближения с Россией, заключен экономический союз, создают общее экономическое пространство, но Грузия последней вошла в состав СНГ, и понемногу совершается то, что мы предсказывали и предвидели: первое центробежное движение сменилось обратным: новым сплочением вокруг России. Без России не обойтись. Но процесс этот может идти только постепенно и добровольно.

Площадь вокруг Белого дома, где собрались красно-коричневые и где наряду с массой красных знамен все еще реет большой Андреевский флаг, объявлена "территорией СССР", кто туда входит, "вступает на территорию СССР". Видимо, не совсем нормальная женщина крепко держит в руках древко с иконой и объявляет, что СССР – это Царствие Божие на земле.

Вмешивается Церковь. Она предлагает посредничество, а митрополит Кирилл Смоленский* зачитывает воззвание патриарха и других иерархов против пролития крови. Со злым лицом митрополит особенно громко читает то место, где объявляется анафема тем, кто первый прольет кровь. Становится не по себе. Анафема слишком страшна, чтобы делать из нее инструмент политики. Пока в Даниловом монастыре ведутся бесплодные переговоры, самозванный "президент" и его боевики делают последние приготовления к мятежу.

В субботу, 1 октября, сижу у знакомых, когда им звонят и сообщают, что на Смоленской площади беспорядки. По призывам коммуниста Анпилова, И.Константинова, Виктора Алксниса, "достойного" внука коменданта латышских стрелков, в гражданскую войну красно-коричневые пробуют мятеж, строят баррикады, взламывают мостовую. Потом на экране телевизора в этой жуткой толпе мелькает и возбужденное мексистофельское лицо В.Аксючица, кощунственно прикрывающегося христианским названием своей партии. Есть раненые с обеих сторон, толпу удается разогнать. В воскресенье днем еду на Смоленскую площадь. Кругом группки национал-коммунистов и нацистов, раздаются их листовки и экстренно отпечатанная газета. Демократов не видно. Они не раздают своей пропаганды, а было бы нужно... Говорят о "Протоколах сионских мудрецов" и о том, что там даются советы в первую очередь овладевать средствами массовой информации. Отсюда ясно, что красно-коричневые пойдут прежде всего атакой на средства массовой информации. Пробую вступить в разговор, но меня сразу же окружает группа мордастых мужчин, которые начинают кричать все сразу. Я аттестую им, что их глотки сильнее моей, но добавляю, что думать надо не глоткой, а мозгами. Слышится скверное ругательство, и я предпочитаю выйти из круга. Рядом стоящая женщина говорит мне, что я – типичная еврейка. Ярлык наклеен, о том, что он вполне ложный, никому нет дела, но никакие слова больше не воспринимаются. Я отхожу от них. Молодой человек, в стороне наблюдающий их, обращается ко мне: "Посмотрите на их лица. Это же страшно". И действительно, это страшно.

* В миру – Гундяев, в КГБ – псевдоним "Михайлов" (Прим. ред.).

Я иду немного погулять в другую сторону и минут через пятнадцать поворачиваю обратно и спрашиваю пожилую женщину, как отсюда пройти на Арбат. Она показывает на другую сторону улицы, но добавляет: "Теперь вы уже не пройдёте, смотрите, что делается", и действительно, за четверть часа все переменялось.

Вдоль тротуара стоит тонкая цепочка ОМОНа, а с другой стороны улицы с ревом напирает дикая толпа. Впереди "вождь мирового пролетариата" Анпилов, виден Виктор Алкснис с перевязанной головой и рукой. Уже накануне на той же площади его кто-то стукнул, может быть, в неразберихе, и свои... Но уходить с поля боя он не хочет. Ну, это не для меня, я поворачиваю в сторону станции метро и уезжаю с мятежной площади.

Описывать события, известные всем, не стоит. Мои родственники, у которых я остановилась, живут довольно далеко от Белого дома, и только под утро были слышны выстрелы из танков по Белому дому. На экране телевидения мы видели, как Руцкой призывал идти на мэрию и на Останкино. Последнее было недостаточно укреплено. Только один отряд "Витязь" защищал сначала телецентр, часть которого была разгромлена и временно перестала вещать. Непрерывно вещало российское телевидение. Когда потом спрашивали бойцов этого отряда, отчего они носят название "Витязь", они ответили, что герб Москвы – Георгий Победоносец и в соответствии с этим они носят его имя. Нужно отметить, что еще перед штурмом Руцкой принимал парад двух небольших отрядов одетых в штатское молодых людей, ведомых соответственно двумя мужчинами, одетыми в фантастическую, похожую на казацкую, форму. Казаки, однако, от них сразу же отреклись, заявив свою лояльность законно избранному президенту и правительству.

В нижних этажах мэрии, захваченных мятежниками, генерал Альберт Макашов кричал в микрофон: "Теперь не будет никакого мэра...", и дальше шли нецензурные слова. А рядом с ним медленно полз вверх по штанге красный флаг вместо сорванного российского. Вообще, если вначале возле Белого дома монархисты стояли рядом с коммунистами, держа в руках и позоря Андреевский флаг, то теперь красные флаги вытеснили монархические эмблемы. Зато появились баркашовцы со стройно маршировавшими отрядами с повязкой на рукавах, на которой красовалась свастика. С искаженным лицом Хасбулатов кричал в микрофон, что сегодня же вечером они должны взять Кремль и убить президента Ельцина, нападение на мэрию и Останкино – это только начало.

Гайдар обратился к москвичам с призывом идти к Моссовету защищать свободу и демо-

кратию. Меня потом спрашивали после одной из лекций студенты, правильно ли он поступил, призывая безоружных против вооруженных до зубов боевиков, приехавших отчасти из Приднестровья.

На вопрос студентки я ответила, что по моему мнению Гайдар поступил неправильно, и тут же добавила, что если б я была моложе, я бы тоже туда пошла, но я знала, что мне не выстоять ночь. Позже я прочла мнение В.Селюнина, считающего, что москвичей следовало позвать. Пришло тысяч 50, купцы подвозили горячий чай и бутерброды. И это явно выраженное мнение народа оказало влияние на некоторые колебавшиеся военные части. Возможно, В.Селюнин прав.

Наконец, подошли войска, и мятеж красно-коричневых, которыми под конец уже не управляли ни Руцкой, ни Хасбулатов, разве что Макашов, был подавлен. Остается только надеяться, что суд над ними не выльется в такую же комедию, как суд над ГКЧПистами. Ведь они пролили кровь молодых, ни в чем не повинных людей.

Моя родственница все время говорила: "Вот они увидят, что проигрывают, и Хасбулатов, а особенно Руцкой как военный, застрелят". Я же возражала, будучи уверенной, что это не такие люди и ни в коем случае не застрелят. Они уже доказали, что у них нет понятия о чести.

Так оно и оказалось. Руцкой до последнего момента взывал к каким-то боевым товарищам слать десантные отряды и самолеты. Он не остановился бы перед тем, чтобы разбомбить Москву и убить тысячи мирных граждан. Но никто не стал исполнять его безумных приказов. Страшно было слышать, как он требовал на месте убить оставшихся в Белом доме телефонистов и техников. "У них же есть наши ленты, они знают, что мы говорили". И в то же самое время умолял иностранных послов, чтобы они гарантировали ему жизнь, так как боялся, что его пристрелят, когда он, уже сдавшись, будет выходить из Белого дома. Каждый судит по себе... Телефонистов и техников, к счастью, не убили, и ленты у них сохранились.

Иностранные послы отказались гарантировать жизнь Руцкого, но при выходе его никто не убил. Он теперь в довольно комфортабельной камере в Лефортово и может даже смотреть на телеэкране себя самого. Посетивший его корреспондент сообщает, что каждое второе слово Руцкого – мат. А что можно было от него ожидать? Он матерился и в мегафон до сдачи.

Тот процесс, который начался в августе 1991 г. и не был тогда завершен, он завершается теперь. В регионах советы или самораспускаются или же их распускает администрация. Кое-где советы еще оказывают сопротивление

или же хотят дожидаться, не будучи распущенными, выборов в новые органы самоуправления, в городские думы, в земства и пр. Эти выборы, вероятно, состоятся весной. Сопротивление иных советов (к счастью, не вооруженное) – это уже арьергардные бои уходящей в вечность советской власти.

12 декабря будут выборы в Совет Федерации (верхнюю палату нового парламента) и в Государственную Думу (нижнюю палату парламента). Когда этот номер журнала выйдет в свет, эти выборы уже пройдут, и мы будем знать их результаты. Анализировать их можно будет позже. Перестраивать на местах органы самоуправления, создавать органы самоуправления вместо органов, полностью зависевших от центра, это не легко. Мы уже не раз писали, что для этого нужно возникновение гражданского общества, изменение психологии. Послушные центру подданные должны постепенно превратиться в самостоятельно мыслящих и ответственных граждан. Очень важно, чтобы как можно большее число граждан поняли, что они сами несут ответственность за то, что делается в их городе, районе, крае. Местные выборы будут происходить постепенно в течение весны будущего года (только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях выборы в местные самоуправления будут проведены в декабре этого года), и выбираться депутаты будут на два года. Это, вероятно, правильно, так как граждане должны постепенно привыкать к далекой идущей самостоятельности и ответственности.

Мы уверены, что постепенно граждане России приобретут необходимый навык. События 3–4 октября показали, что граждане России не пошли за коммунистами и их союзниками национал-патриотами и национал-социалистами, к которым так упорно иные монархисты присасывали свои знамена. Перед своим отъездом в Москву я писала правым эмигрантам, что народ не пойдет за коммунистами, какие бы одежды они на себя ни напяливали. Вероятно, правые эмигранты, все еще искавшие спасения в союзе с национал-коммунистами, моим словам не поверили, но я оказалась права.

В истекающем году я четыре раза ездила в Россию, в том числе и в провинцию, провела в ней три месяца и, думаю, настроения русского народа поняла.

Отметим, между прочим, что патриарх и иерархи забыли о своей анафеме, когда оказалось, что начали стрелять и проливать кровь сторонники Руцкого и Хасбулатова по их приказанию. Ну, Хасбулатов ни с какой стороны не относится к православной Церкви, а Руцкой в церковь ходил. Невольно возникает мысль, а не ждали ли иерархи, что президент, в исполнение своих обязанностей защищать народ от

бандитов, отдаст приказ их атаковать, и вот тогда они огреют его своей анафемой? Кто их знает. Оставим это на совести иерархов. Они будут отвечать перед Господом.

Спросим себя: на что же надеялись Руцкой и Хасбулатов? Хасбулатов еще до стрельбы заявил снисходительно, что они, мол, не будут мстить уже павшему правительству Ельцина. А после штурма Останкина и мэрии он в упоении кричал, что в этот же вечер будет взят Кремль, хотя ни Останкино, ни мэрия ими так и не были взяты целиком. Что это за люди? Просто ненормальные, параноики, или же они думали, что у них есть основания быть уверенными в победе? Они надеялись на регионы, хотели возбудить там смуту и распространить гражданскую войну на всю Россию. Совести у них не было, но неужели они так оторвались от жизни, от народа, что совсем не знали его настроений? Неужели Руцкой серьезно надеялся на поддержку армии или хотя бы более или менее значительных ее частей? Оба друга пустились в авантюру, совершенно не рассчитав своих сил. Они пролили кровь ради удовлетворения собственного честолюбия без малейшего шанса на успех своего предприятия.

Подчеркнем еще раз. В России была только одна легитимная власть: всенародно избранный президент, подтвержденный референдумом 25 апреля сего года. Не избранные по-настоящему съезд и Верховный совет не были легитимной законодательной властью, хотя ее считали таковой как коммунисты, так и заграничные монархисты (см. "Наша Страна", № 2254). Во многих демократических странах президент имеет право распускать парламент, назначая в течение следующих трех месяцев новые выборы. В коммунистической, перекошенной брежневской конституции такого права не содержалось. Но Верховный совет и съезд так часто нарушали эту самую "свою" конституцию, что ссылаться на нее у них уже не было никакого основания. Президент совершил нормальный для демократических стран шаг, распустив Верховный совет и назначив в течение трех месяцев новые выборы. Называть эти выборы "поспешными" нет никакого основания, так как, повторяем, по демократическому правилу выборы после роспуска парламента назначаются всегда в течение следующих трех месяцев, иначе говоря, они всегда "поспешные". Никакого чрезвычайного положения в стране не было ни одного часа, в течение недели было чрезвычайное положение лишь в Москве, но его уже нет. Никаких ущемлений прав человека тоже нет. По нашему мнению, даже слишком многим партиям и организациям разрешено участвовать в выборах, хотя некоторые из них занимались подстрекательством к кровопролитию. Тем не менее, коммунисты и мо-

нархисты (см. указанный номер "Нашей Страны") в унисон вопят о диктатуре, хотя никакой диктатуры нет. Пресса и средства массовой информации вполне свободны. Больше того, часть прессы и некоторые интервьюеры в телевидении (например, Караулов) просто расхлебывали и нагло глупы. Не совсем понятно, чего они хотят. Если бы победили коммунисты, то им снова пришлось бы лизать им пятки, ни о какой свободе печати не могло бы быть и речи. Но, возможно, им этого-то и хочется. Многие не привыкли к собственной инициативе и, тем более, самодисциплине и теперь просто не знают, что с собой делать. Если бы коммунисты поставили их снова в жесткие рамки, они с радостью пошли бы в прежней упряжи. Им этой упряжи явно не хватает.

Конечно, президент Ельцин назначил выборы в новый законодательный орган. Это не преждевременные выборы того же самого органа, что подчеркнул сам президент Ельцин в своем выступлении 21 сентября с.г.: "Подчеркну, это не досрочные выборы съезда и Верховного совета. Создается совершенно новый высший орган законодательной власти в России". Как уже указывалось, это будет Государственная Дума и Федеративный совет (некоторые хотели бы назвать его Сенатом). Но отчего именно правые эмигранты так недовольны тем, что сейчас ликвидируются последние остатки советской власти? Тем, что восстанавливаются российские традиции? Не забудем, что Государственную Думу России все же даровал последний император.

В промежуточное время президент может указами продвинуть вперед то, чему больше двух лет препятствовали съезд и Верховный совет. Чрезвычайно важным является декрет о земле. Наконец-то крестьяне, фермеры получают землю в собственность! Этот декрет, который должен был бы давно быть издан, блокировался Верховным советом. Президент издал также ряд декретов по экономическим вопросам и готовит пакет по социальному обеспечению особо неимущих. Когда этот номер журнала выйдет в свет, все эти указы будут подписаны и будут в действии.

Мне много раз уже приходилось писать о том, что квартальный журнал, конечно, не может угнаться за актуальностью. Мне хочется, однако, хоть немного рассказать о начале предвыборной кампании, которую мне удалось увидеть в Москве. Я была на предвыборном собрании академических кругов, где выступали вице-премьер А. Чубайс и Г. Явлинский, который уже выставляет свою кандидатуру в президенты, хотя таковые выборы еще не предстоят.

Чубайс не краснбай, он говорил по-деловому, много не обещал, сказал, что к концу года надеются снизить инфляцию с 25 процентов в

месяц до 10–15 процентов, а за 1994 год остановить спад промышленности и снизить инфляцию до 3 процентов в месяц, и только с 1995 года начнется экономический подъем. На вопросы он также сказал, что со старыми специалистами по экономике, будь они даже академики, работать сейчас нельзя: они слишком заскорузли в прошлом. Он также указал на Украину. Чубайс сказал, что в Киеве он себя чувствует почти так, как западный иностранец в Москве, поскольку за рубль может купить гораздо больше, чем украинцы за свои карбованцы.

И в самом деле, за рубль дают 25 карбованцев, а сейчас уже, вероятно, больше, карбованец стремительно падает в цене. Он указал на то, что на Украине не применяли шоковой терапии, там делали все медленно, как того хотел гражданский союз, зато инфляция там 100 процентов в месяц и экономика на грани полного краха. "Хорошо, что мы их не послушали", – сказал Чубайс. Мы же добавим: хорошо, что не послушали и Солженицына, который, не поставив даже ноги на русскую землю и не будучи экономистом, думает, что все знает лучше всех, высокомерно поучает и президента, и правительство и советует именно то, что губит экономику Украины. Хоть бы он дал себе труд бросить взгляд в сторону Украины.

Чубайс произвел хорошее впечатление, лучше, чем выступавший после него Явлинский, хотя последний ловкий оратор, скорее, именно красноречив. Он говорил много и запутанно. Когда ему задавали вопросы, В.Селюнин встал и сказал: "Никак не пойму, чем же отличается ваша экономическая программа от правительственной". Явлинский ответил, что в целях ничем не отличается, но зато в методах, и снова начал сыпать разными терминами, понятными разве что узкому специалисту по экономике. Тогда кто-то другой встал и сказал то же самое: он не видит разницы в программе правительства. Под конец Явлинский критиковал недостаточную расторопность властей при подавлении мятежа. Он бы действовал решительнее. Своим эмоциональным взрывом он снискал некоторые симпатии, но уже не осталось времени сказать ему, что он на самом деле несколько раз менял позицию, ходил в Белый дом, говорил о нулевом решении, и, только увидев баркашовцев со свастикой на рукавах, испугался и перешел на сторону президента. Позитивным в его высказываниях были его заверения, что он и его блок не будут вступать в конфронтацию с правительством, если пройдут в будущий парламент. Он говорил о партнерстве с правительством и критике лишь там, где, по его мнению, это будет необходимо. Хорошо, если он исполнит эти свои предвыборные обещания.

Хочу еще рассказать о двух конференциях, на которых мне пришлось быть. Одна из них была презентацией книги "Апрель" против 'Памяти'. Три томика посвящены судебному процессу после погрома, который был учинен боевиками "Памяти" в писательском обществе "Апрель". Это было в 1990 г., тогда, когда еще коммунисты верховодили. Устраивая дебош, "памятники" кричали в мегафон: "Сегодня мы пришли с плакатами – завтра придем с автоматами". Они пришли с автоматами 3–4 октября 1993 г. В те времена на скамью подсудимых сел лишь один из самых рьяных погромщиков, некто Осташвили. Он получил небольшой тюремный срок, но перед выходом из тюрьмы он грозил, что назовет имена стоявших за ним. Перед самым освобождением он был найден в камере повешенным. Поэтому общество "Апрель" думает, что тогда за погромщиками из "Памяти" стояло КГБ. Это, видимо, так и было. В России уже тогда мало кто сомневался в причастности "Памяти" к КГБ. В конце листовки, раздававшейся на этой презентации книги, указано на скверный тон газетных публикаций "Независимой газеты" (сколько мы знаем, она весьма зависима от горбачевского фонда), на то, как охаивала эта газета, да и "Московские новости", встречу писателей с президентом Б.Н.Ельциным, и добавляет в конце: "Очень характерно и еще одно сходство этих статей: их авторы делают вид, что им неизвестно и невдомек, что за недели и дни фашистского мятежа в Белом доме Хасбулатов и Руцкой тоже принимали писателей – правда, других, и вели с ними разговоры, надо думать, о высоком искусстве... Авторы этих статей делают вид, что не читали в "Правде", "Советской России", "Дне" коллективных писем, открыто призывавших к кровопролитию и удушению демократии – буквально накануне мятежа! И эти письма были подписаны не только Прохановым и Пулатовым, шерочкой с машерочкой, но и такими именами отечественной культуры, которые сегодня язык не смеет произнести. Бог им судья". Ну, у нас не застыло перо их привести, читатель найдет эти имена в нашей статье выше. А В.Распутин, кажется, еще имеет дерзость баллотироваться в Государственную Думу!

На конференции выступало много ораторов, говоривших более или менее правильно, и немного таких, которые говорили совсем неправильно, призывали допустить снова все издания, призывавшие к кровопролитию, и лицемерно вздыхавшие о якобы перегибах в другую сторону, которых и в помине нет. Повторим, таких было немного, но они были. Лучше всего выступила Валерия Новодворская. У нее хватило мужества признаться в прошлых ошибках и призвать сплотиться вокруг президента, правительства, реформаторов.

Отметим еще, что расслабление властей опять на полном ходу: "Правда" уже опять выходит в свет, "Литературная Россия" – тоже. Есть слабая надежда, что прокуратура собирает на них материал, но лишь очень слабая. Прокуратура, где ведь еще и теперь много бывших коммунистов, закрывала глаза на призывы к кровопролитию на страницах всех этих коммунистических, национал-коммунистических и прочих "национал-патриотических" газет, многие из прокуратуры им, вероятно, сочувствовали. Когда я была в Москве, меня попросили по телефону дать короткий анализ и прогноз для газеты "Поиск". Так, в №40 от 8–14 октября появилась моя небольшая статья "В ответе суд, прокуратура, пресса". В ней я, между прочим, писала: "Прокуратура. Она явно спутала демократию с анархией, не возбуждала дел против организаций и прессы, которые прямо и открыто призывали к вооруженному восстанию". В странах с устоявшейся демократией такие дела были бы немедленно возбуждены.

Вторая конференция, которую мне хочется отметить, была конференция "Диссидентское движение 1950–80 гг., источники, архивы, публикации". Хотя наш журнал как таковой не принадлежал к диссидентским изданиям, а я, его редактор, из второй эмиграции, меня попросили выступить с презентацией журнала. Я рассказала немного о второй эмиграции, а затем о журнале. Хочу здесь высказать благодарность участникам конференции, принявшим меня очень хорошо. А потом мне говорили слова, которые должны порадовать всех наших настоящих и бывших авторов, еще живущих (ведь много за эти 17 лет скончалось). Мне сказали, что знали наш журнал уже давно, читали его в 80-х годах, тайком, со страхом, но и с восторгом, читали, конечно, нерегулярно, но довольно часто, привозили преимущественно тайком иностранные туристы. "А вот сейчас редактор этого журнала смог приехать в Москву и выступить открыто, это как в сказке", – сказали мне. Меня глубоко растрогали эти слова, и я была очень рада, что журнал наш и при коммунистической диктатуре проникал в Россию, к русскому читателю, в большем количестве, чем мы тогда даже смели надеяться.

Добавим еще, что в России повсюду идет восстановление русских традиций или как бы новое создание их. Так, в Ярославле воздвигнут памятник Ярославу Мудрому. В Москве, на Красной площади, восстановлен Казанский собор, который был разрушен в 30-х гг. 4 ноября, в день праздника Казанской Божией Матери, он был освящен. Вообще, есть план восстановления исторического облика Красной площади. Пост №1 у мавзолея снят и перенесен к могиле Неизвестного солдата. Снова идут разговоры о выносе мумии Ленина и захоронении ее. Но

многие думают, что надо подождать хоть до выборов, а то коммунисты сумеют нажать на этот капитал, так как, увы, есть еще немало людей, которые заблуждаются насчет Ленина. Здесь нужна была бы большая разъяснительная работа. В Москве ликвидирован музей Ленина. В здании разместится городская дума. Так идет постепенное очищение.

В №70 журнала, в статье "Конституционный процесс", я писала, что когда этот номер выйдет в свет, будет идти предвыборная кампания в новый парламент. Так оно и случилось. Когда №71 выйдет в свет, парламент, носящий название Федеральное Собрание, уже будет избран. Результаты выборов мы проанализируем в следующем номере.

Одновременно с выборами 12 декабря пройдет и референдум по новой конституции. Ее проект, опубликованный 10 ноября, выгодно отличается от такового, опубликованного в мае. Новый проект представляет собой не такую растянутую конституцию. Федеративный договор из нее изъят, что и правильно. Ему не место в Основном Законе. С течением времени он может меняться.

Права человека в конституции даны очень развернуто. Статья 2 гласит: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства". Дальше идет подробное изложение прав и много меньше обязанностей гражданина. Свобода вероисповедания конституцией гарантируется. Устанавливается также, что Россия – государство светское. Против этого, с одной стороны, трудно в наше время что-либо возразить. С другой стороны, в конституции остается не обоснованным, отчего человек – это высшая ценность. Мы не ставим этого в вину именно этому проекту конституции. Это тенденция времени, и мы несколько не сомневаемся, что если эта конституция будет принята, ценность человеческой личности и права человека будут ею охранены. Тем не менее, истинное и глубокое обоснование ценности человека лежит в том, что он – образ и подобие Божие. Выхолащивание этого момента из современных конституций делает их где-то не вполне полноценными. Но, повторяем, это общее рассуждение и знак нашего времени.

Конституция президентская. Она дает президенту большие права, но за парламентом остается право импичмента, однако значительно утяжеленное дополнительными условиями по сравнению с переделанной брежневской конституцией. Мы очень приветствуем – мы не раз об этом писали, – что из этой конституции исчезло верхнее возрастное ограничение для кандидата в президенты. Кандидат не должен быть моложе 35 лет, но вынута условие, что он

не должен быть старше 65. Как мы уже подчеркивали, это правильно. Такого ограничения нет ни в одной стране. Президент, однако, избирается лишь на 4 года. Французский президент, имеющий такие же большие права, избирается на 7 лет. Может быть, 7 лет и слишком большой срок, но 4 года – слишком короткий. Следовало бы оставить 5 лет. В конституции записано, что выбранный согласно прежней конституции президент остается президентом до конца своего срока. Таким образом, возникает путаница с указом президента о досрочных президентских выборах 12 июня 1994 года. Конечно, Ельцин совершил ошибку, издав этот указ. В уже упомянутой статье в газете "Поиск" мы писали: "Прогноз? Он очень труден, поскольку сейчас нельзя сказать, кого и чему этот страшный урок научил. Вот, например, центристов определенно ничему не научил, поскольку они требуют идти на одновременные выборы в парламент и перевыборы президента. По нашему убеждению, президента вообще не надо избирать. Он был избран до 1996 г. и подтвержден референдумом 25 апреля".

Напомним, что эту статью для "Поиска" я писала 5 октября, т.е. сразу после событий у Белого дома. Ельцин, издавая указ, снова по-

надеялся, что с Верховным советом все еще удастся уладить мирно, если он пойдет на встречу его желанию преждевременных президентских выборов. Но это была напрасная надежда. Руцкой и Хасбулатов усиленно готовились к мятежу и хотели только выиграть время.

Недавно президент говорил, что он считает эти преждевременные выборы теперь излишними. Но указа пока не отменил. Если будет принята конституция, то задействует соответствующая статья, и мы надеемся, что вопрос о преждевременных выборах отпадет сам собой.

Федеральное собрание обладает законодательной властью, и в новом составе, будем надеяться, начнет сотрудничать с правительством, что не исключает деловой критики его деятельности, но критики с целью эту деятельность улучшить, а не заморозить, как того хотел совет.

Зафиксирована независимая судебная власть и суд присяжных, который уже начинает постепенно вводиться в некоторых областях.

Под конец нам остается только пожелать, чтобы российский народ на референдуме 12 декабря принял эту безусловно хорошую конституцию.

Ноябрь 1993 г.

ИНТЕРВЬЮ С СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА ПО НАУКЕ И ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ НИКОЛАЕМ МАЛЫШЕВЫМ

Когда я была в Москве, советник президента Н.Малышев любезно согласился дать интервью для "Голоса Зарубежья". Вначале мы говорили о проекте конституции, который в то время еще не был опубликован. Теперь эта часть нашей беседы уже устарела, так как не нужно гадать, как выглядит проект: он опубликован. А когда этот номер выйдет в свет, то мы будем знать, принята конституция или нет. Будем надеяться, что российский народ поступит так же мудро, как и во время референдума, и конституцию примет. Без ее принятия повиснет в воздухе и выбранный парламент. Но перейдем к интервью.

Сейчас задам вам следующий вопрос, который больше захватывает вашу сферу. Вот, по моим наблюдениям, в народе, и даже среди интеллигенции, не понимают, что такое демократия. Все время есть спад в две противоположные стороны: одни понимают демократию как анархию без всякой ответственности, все пиши, все ругай, на все нападай без ответственности перед государством и народом или же уклон в вождизм. Меня, например, спрашивают, отчего президент не запретит рекламы, она раздражает народ, то есть желание, чтобы президент вмешивался во все мелочи и стал бы диктатором. Почему правительственные структуры очень мало объясняют? Нельзя ли организовать людей, которые бы чаще выступали по телевидению, по радио, в газетах и объясняли. Другие, конечно, могут говорить и писать, что хотят, но им противопоставлялись бы правильные понятия.

К сожалению, я не думаю, что у нас сейчас есть люди, способные объяснить, что такое демократия. Я согласен с вами, что телевидение играет большую роль и что важно объяснять основы демократии. Но насадить демократию сверху в такой большой и противоречивой стране, как наша, просто невозможно.

А кто говорит, что надо насаждать, я говорю об объяснении.

Насаждать нужно путем того или иного закона, принятием конституции и т.д. Это насаждение.

А я говорю об объяснении.

Для меня важнее, чем любой документ, взаимоотношения с людьми в тех или иных регионах страны. То есть надо решить базовые проблемы собственности, проблемы распределения, проблемы социальной защиты. Пока мы не решим этих проблем, любой строй будет иметь очень жидкий фундамент. К новой кон-

ституции, к новому укладу жизни надо идти, на мой взгляд, снизу вверх, постепенно. Вот возьмите фермерское движение, начали жечь фермеров, их начали ограничивать, начали терроризировать со всех уровней, как соседи, так и местные начальники, которые видят, что там можно заработать, но надо сильно работать, начали им завидовать. Поэтому это процесс очень длительный. Конечно, надо принять конституцию, которая давала бы эти свободы, давала бы возможность быть собственником, защищала права этих людей, но выращивание будет все равно длительным.

Все это верно, но все же надо пробовать объяснять той же интеллигенции, которая так мало понимает.

Я с вами согласен. Наши академики, наши культуртрегеры должны были бы выступать, а они не выступают.

А создать такую группу, такую организацию разве нельзя?

Были попытки создать партии, много партий. Вот социал-демократы, либерал-демократы, демократы, но они выросли вместе с нами, у них сейчас мерцающее сознание, им кажется, что они видят какие-то принципы.

Я говорю не о партиях, а о группе людей, которая делала бы доклады, разъясняла.

Я боюсь, что они все себе мало что представляют. В демократии надо вырасти. Особое качество русского, ну, скажем, россиянина, что когда он попадает в демократическое общество, он быстро вживается в него. Я знаю очень много соотечественников за рубежом, и в ближней, и в дальней эмиграции, они адаптируются к условиям жизни в Германии, во Франции, в США совершенно быстро, это заложено в душе человека, и они быстро приспособляются. Они, может быть, не знают некоторых законов, но они признают принципы жизни, которые сложились в западном обществе, очень быстро и быстро адаптируются. А вот если западный человек приезжает к нам, то ему очень трудно адаптироваться в наших условиях.

Дело идет не об адаптации. Я адаптировалась, конечно, быстро.

Но вы быстро адаптировались!

Да, я адаптировалась быстро, но к чему? Послевоенную демократию в Германии мы вместе строили. Я участвовала в каком-то смысле в политической жизни, так что тут и адаптироваться не надо было. Но я не об этом говорю, я говорю о России.

Еще один вопрос: какие меры предпринимаются, чтобы изменить учебники истории? Все же было искажено, и теперь понемногу и с трудом надо возвращаться на более объективную линию.

Я согласен с вами и прилагаю сейчас усилия, чтобы появились объективные курсы исто-

рии, ну хотя бы XX века. Есть неплохие издания под руководством Ю.Н.Афанасьева, но эти издания, конечно, учебниками назвать нельзя. В чем здесь проблема? Проблема в том, что нет достаточно компетентных людей, чтобы не только осмыслить прошлый период, но и спрогнозировать ход истории страны на ближайшее будущее.

Это не дело историков – прогнозировать.

Конечно, не дело, но я имею в виду людей, которые, зная историю, политологию, социальную сферу, как-то сумели бы спрогнозировать жизнь страны. Человек, берущийся за книгу, которую он назовет монографией или учебником, должен четко понимать, на каких принципах строится новое государство, и уже с этой точки зрения рассматривать, скажем, экономику, философию, историю. Все люди, которые сейчас преподают в ВУЗах, – это все марксисты, и притом самое страшное, что вчера веровал, а сегодня отрицает. У нас такой процесс: вчера они сидели на партийных собраниях и клялись в верности марксизму-ленинизму, а сегодня с пеною у рта это отрицают и прославляют то, чего явно не понимают.

Ну, в МГУ я с этим явлением не встрети-лась, там марксисты не особенно скрывают, что они все еще марксисты, я имею в виду преподавателей. Студенты – другое дело, они ва-лили на мои доклады.

МГУ – это особый случай. Надо спуститься на уровень периферийных ВУЗов. Там люди опасаются, причем не кого-то, не власти, а просто опасаются написать что-то не то. Они недостаточно знают.

Но надо что-то делать. Хотя бы писали и не то. И историки спорят между собой. Учебники, конечно, должны быть более отработаны, но курсы могут быть разными. И прежде историки толковали те же самые факты нередко по-разному, Платонов, скажем, так, Сергей Соловьев – несколько иначе, Ключевский делал упор на социальную историю, другие обращали больше внимания на развитие государства и т.д. Можно и теперь учитывать прежние труды в книгах по истории предыдущих столетий. Надо начинать пересматривать.

Да, надо начинать. Но для этого нужна новая генерация, ее надо подготовить. У нас 600 ВУЗов, две с половиной тысячи техникумов, уж не говоря о школах. Надо воспитать смену, которая могла бы начать. Вот у Афанасьева есть группа, которая эти книги пишет, и не только там. В Петербургском университете есть люди, которые этим занимаются, и не только там, и в МГУ, по всей вероятности, это делается, ведь срок очень короткий. Весь процесс начался лишь два года тому назад. До этого существовала точка зрения КПСС, и ничего больше.

Я это знаю.

Начинается, появляются книги, и я их читаю. Но я согласен с вами, должны быть противоречивые мнения, хотя фактов следует придерживаться. Но кто сейчас сразу же бросается писать книгу, не всегда прав. Надо сначала разобраться, что с нами произошло и происходит.

Вопрос остается: как теперь учить подрастающее поколение, кто и чему?

Кто? (Смеется.) Это наши люди, больше никому учить. Во-вторых, сейчас все эти специальности не пользуются большим спросом. Мотивация слабая у людей, и прежде чем начинать что-нибудь, надо создать мотивацию, чтобы люди начали изучать историю, заниматься исследованиями. Ускорить этот процесс трудно. Но я считаю, что система образования в России – одна из самых сильных систем образования. Я преподавал в университетах Токио, Америки, был во всех университетах Франции, Германии, Италии и могу сказать, что наши университеты дают одно из самых полных образований.

Да, по естественным наукам.

По естественным, техническим наукам, а общественные науки – это другое дело. Вот не-

развитие общественных наук и привело к деградации страны. Это совершили в свое время партократы. Они зажали общественную мысль и думали, что можно ее зажать и развивать только математику, физику, химию, технику. И вот благодаря этой глупости и произошло то, что мы имеем сейчас. По сути дела, идеология все эти десятилетия коммунизма зажимала все. Я считаю, что сейчас надо дать простор людям, которые хотели бы заниматься общественными науками.

Я вот была на конференции МГУ в июне, и там опять пытались отчаянно искать новую идеологию. А идеология имеет свойство опять все зажимать.

Я согласен с вами, что не должно быть одной новой идеологии, вот идеология: декларация прав человека.

Я бы сказала – идея.

Неважно, как назвать, важно, что из этого все остальное будет развиваться.

Да.

Возьмите законы мироздания, заповеди Христа, Нагорную проповедь – вот это принципы, на которых можно строить свою жизнь.

Спасибо за беседу.

Беседу вела В. Пирожкова

Владимир Илюшенко

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЦЕНЗУРЕ МОСКВА, 27 МАЯ 1993 г. (Секция "Ученый и цензура")

Цензура в широком смысле – это система социальных запретов и ограничений. Она существует столько, сколько существует человечество. Такие запреты (табу), религиозные по своему характеру, пронизывали всю жизнь первобытного общества. Они подробно исследованы и проанализированы в классических трудах Фрэзера, Тэйлора, Леви-Брюля, Леви-Стросса, Фрейда. Библейская книга Второзаконие, Десять заповедей, да и любой закон, – это система социальных и этических запретов и ограничений. Они необходимы для нормального функционирования общества.

Политическая цензура существует столько, сколько существует государство. Масштабы и интенсивность ее изменчивы. Однако всеобъемлющая политическая цензура возможна лишь в тоталитарном государстве. Это его непременный, неизбежный атрибут – такой же, как тюрьмы, лагеря и психушки. Более того, в ненормальном обществе тотальная цензура воспринимается как вещь абсолютно нормальная.

Вспомните, удивлялись ли мы цензуре? Отнюдь нет. Это был воздух эпохи, который мы впитывали и который изменял наш внутренний состав. Нам не надо было читать Оруэлла, что-

бы знать, до каких пределов (а точнее, беспредела) может дойти цензура. Правила жизни в условиях несвободы мы знали очень хорошо как таблицу умножения.

В советском тоталитарном обществе цензурировалось бытие как таковое. Наука была лишь одним из объектов цензуры. Особенно свирепствовала она в гуманитарных науках (хотя генетика и кибернетика были разгромлены, в прикладной и теоретической физике, математике, да и вообще в отраслях, работающих на войну, цензуры практически не было). Удушение философии, социологии, исторической науки с помощью цензуры происходило перманентно, однако в периоды идеологических кампаний она резко ужесточалась, превращаясь в орудие погрома.

Нарушители идеологической стерильности подлежали наказанию: до середины 50-х годов они физически репрессировались, позднее становились жертвами кадровых чисток преимущественно в "гуманной" форме – понижались в должности, увольнялись с работы. Так, с приходом Руткевича на пост директора Института социологии оттуда были уволены наиболее талантливые и нестандартно мыслящие сотрудники. Спустя несколько лет был разогнан

социологический семинар Юрия Левады в ЦЭ-МИ. По указке Старой площади (а может, и Лубянки – демаркационную линию между ними провести трудно) с помощью организационных трюков не был допущен к защите диссертации известный философ и культуролог Григорий Померанц.

Цензура существовала и в Церкви, в частности, в богословии. Казалось бы, над ним, в отличие от светского “религиоведения” (как называлась пропаганда воинствующего атеизма), не властвовали каноны марксизма. Однако оно было подчинено общесистемным закономерностям тоталитарного режима, изгонявшего и подавлявшего все творческое и неординарное. В руководстве Церкви всегда находились люди, с готовностью хватавшиеся за цензурную дубину. Так, с приходом в издательский отдел Патриархии митрополита Питирима* “Журнал Московский Патриархии” был закрыт для о. Александра Меня, хотя до этого он опубликовал там множество прекрасных, глубоко христианских по своему духу статей. Но дело не в том, что о. Александр уклонялся от христианской догматики (это ему не вменялось), а в том, что он был нестерпимо талантлив, ярок, был человеком свободомыслящим, а к тому же евреем. Ненависть к евреям, идеологический фанатизм, зависть к таланту были характерны не только для чиновников Совета по делам религий (департамент КГБ), но и для многих князей Церкви. Указания свыше полностью совпадали с их ментальностью.

Гласные и негласные директивы “инстанций”, допуски и анкеты, спецчасти и спецхраны, стукачи и кураторы, не говоря уже о Главлите, – все это были элементы, ячейки и фильтры грандиозной системы цензурных запретов и идеологических табу. Они охватывали все общественные науки. Мне ближе история, поэтому я буду говорить главным образом о ней.

В результате усилий цензуры отечественная и мировая история в нашей стране была полностью фальсифицирована. Историческая наука, занятая непрерывным “исправлением истории”, превратилась в род пропаганды, в школу обскурантизма. Вырастали целые поколения, отрезанные от прошлого, от мировой культуры, запрограммированные на усвоение псевдонаучной жвачки “единственно верного учения”.

По выражению Осипа Мандельштама, марксизм – это “перевернутая религия”. Это очень точное определение, потому что марксизм (или марксизм-ленинизм) представлял собой секуляризованную религиозную систему, пародирующую христианство. Квазирелигиозные марксистские постулаты десятилетиями навязывались гуманитарным наукам, в том числе и в первую очередь с помощью цензуры. На каждом изгибе и повороте советской истории ученым надлежало руководствоваться соответствующими указаниями Сталина или очередного генсека, или ЦК КПСС. Из “директивных органов” поступали разъяснения, какие цитаты Ленина можно использовать, а какие нет. В книгах и диссертациях начинать библиографию следовало не иначе как с “трудов классики марксизма”. Издательство восточной литературы получило в свое время нагоняй от ЦК партии за то, что в опубликованной им книге Трофимовой “Историко-философские вопросы гностицизма” ссылок на оные труды вообще не было.

Диссертацию замечательного политолога и социолога Виктории Чаликовой по Максиму Веберу несколько лет не утверждали в ВАКе, поскольку в ней усмотрели “немарксистский подход”. Автору инкриминировали также, что она “мало критикует буржуазные теории”. В Историко-архивном институте, когда начальству требовалось избавиться от какого-либо преподавателя, поступало указание внимательно ознакомиться с работами его дипломников на предмет выявления отклонений от марксистского учения. Публикация знаменитого буддистского сборника изречений “Дхаммапада” вызвала недовольство Старой площади, потому что переводчик, В.Н.Топоров, позволил себе в предисловии говорить о Будде как о реальном человеке. Еще более недопустимым было признание исторической реальности Христа. При издании книги Тейяра де Шардена “Феномен человека” глава о христианстве без каких-либо пояснений и уведомлений была опущена, словно ее и не существовало. Ненависть, ревность к Богу была всепоглощающей, неотступной и удивительно мелочной. Само слово “Бог” разрешалось писать лишь с маленькой буквы.

Судьба книг иностранных авторов зачастую зависела от судьбы их переводчиков. Так, перед выходом в свет книги американского ученого Инголса “Логика навья-нья” (разновидность индуистской логики) ее переводчик и автор вступительной статьи Э.Зильберман эмигрировал в США. Издание было немедленно приостановлено. Понадобилось несколько лет, чтобы найти нового автора предисловия. В конце концов книга вышла с пометкой: “Перевод с английского”. Фамилия переводчика отсутствовала.

Вообще эмиграция ученого автоматически приводила к тому, что всякие ссылки на него запрещались. Например, при переизданиях книги Бонгард-Левина и Герасимова “Мудрецы и философы древней Индии” фамилия второго автора опускалась, как будто такого и не было. В “Библиографическом словаре востоковедов”

*В миру – Нечаев, в КГБ – псевдоним “Аббат” (Прим. ред.).

Миллибанда фамилии репрессированных ученых вычеркнули уже на стадии рукописи, а фамилии недавно уехавших исчезли после выдирки на стадии чистых листов. То же самое практиковалось и в книгах по другим отраслям знания.

Цензура в тоталитарном обществе не менее значима, чем физические репрессии. Они дополняли друг друга. Цензура – это репрессия мысли, это намордник на мысль, на свободную мысль и свободное ее выражение. Поэтому с философской точки зрения вопрос о цензуре – это вопрос о свободе и несвободе, правде и лжи, добре и зле. Цензура – важнейшее средство идеологического надзора, но ее главная политическая и социальная функция состоит в том, что она является механизмом духовного насилия, механизмом реализации несвободы. Несвобода – способ существования любого тоталитарного режима, и, в частности, советского “реального социализма”. В таком до ужаса идеологизированном государстве, как наше, цензура не могла не быть тотальной, избыточно, абсурдно тотальной, потому что в криминальной государственной системе любая объективная, правдивая информация преступна – с точки зрения этой системы, потому что правда для нее саморазрушительна: правда служит добру, а тоталитарная власть служит злу. Вот почему засекречивалась именно правда, то есть реальность. Правда была “клеветническим измышлением, порочащим советский государственный и общественный строй”, и ее разглашение влекло за собой неизбежную кару.

Тем не менее многие ученые (как и писатели, художники) пытались преодолеть цензурные ограничения. Существовало несколько способов обойти цензуру. Первый – не писать вообще. Но для ученого-гуманитария это невозможно, поэтому некоторые из них, вынужденные применяться к ситуации, частично писали “в стол”. Второй способ – уйти в древность. Понятно, однако, что это пригодно не для всех, к тому же марксистская методология была общеобязательной и для античников, и для медиевистов. Третий способ – перехитрить цензуру. Разумеется, это было возможно лишь до определенных пределов. Иные, правда, ухитрялись писать прикровенно, почти эзотерическим языком, уходя на большую глубину, где цензор даже не понимал, о чем идет речь. Но это было доступно лишь таким людям, как Вячеслав Иванов, Сергей Аверинцев, Юрий Лотман и немногие другие. Известный философ Мераб Мамардашвили, который принадлежал к числу таких людей, пользовался, тем не менее, и другим методом. Время от времени он писал: “Как известно, Маркс считал...” Далее (разумеется, без кавычек) следовал текст, с

Марксом ничего общего не имеющий. Главное было достигнуто: бдительность цензоров усыплена.

Не менее остроумно поступил математик Юрий Гастев, отец которого, создатель системы НОТ, погиб в сталинских застенках. Ю. Гастев и сам отсидел в лагерях, а когда вернулся оттуда, сумел защитить кандидатскую диссертацию. По ней он опубликовал книгу, в предисловии к которой содержалась ссылка: “Автор выражает глубокую признательность профессорам Чейну и Стоксу, без поддержки которых эта работа не могла бы увидеть свет”. Означенные профессора не имели никакого отношения к математике, однако к самому Ю. Гастеву имело отношение “дыхание Чейна – Стокса”, развившееся у Сталина перед смертью и сделавшее эту смерть необратимой. В результате Гастев сумел вернуться из ссылки и завершить свое образование. Тем не менее, когда он эмигрировал, ссылки на его собственные работы, как водится, были запрещены.

Всеобъемлющая цензура необходима для нормального функционирования утопической идеологии, для сохранения целостности тоталитарного мифа, лежащего в основе террористического режима. Цензура создавала иллюзию непротиворечивости идеологии, которую будто бы на каждом шагу подтверждает сама жизнь. Ее действительной целью являлось замещение реальности иррациональным восприятием мира. То, что запрещалось цензурой, объявлялось попросту несуществующим или же клеветническим. Таким образом, цензура была необходима для поддержания истинности того ирреального мира, который создавали идеологи-утописты.

В гуманитарных науках цензура исходила из концепции предзаданности: результаты исследования должны быть известны до исследования (поскольку “всепобеждающее” и “единственно верное” учение их предопределило). Ученые рассматривались лишь как медиаторы идей партии. Цель общественных наук – аранжировка марксистско-ленинской идеологии, и не больше.

Цензура как репрессия мысли одновременно была способом репрессии истины, способом ее сокрытия. Принцип истинного свидетельства – правда, правда и ничего кроме правды. Принцип тоталитарной цензуры – ложь, ложь и ничего кроме лжи. “Познаете истину, и истина сделает вас свободными”, – говорил Христос. “Познаете ложь, и ложь сделает вас рабами”, – говорит (имплицитно) перевернутая религия.

Однако цензура – это не только запрет писать о том-то и том-то, не только указание писать то-то и так-то. Цензура – это еще и нормативная партийная лексика, то, что Виктория Чаликова, анализируя роман Замятина “Мы”,

удачно назвала "идеологическим развращением языка", а Джордж Оруэлл – "новоязом". Новояз – закрепление за словом единственного, нормативного смысла. Для советской системы координат; в которой разномыслие, плюрализм считались криминалом, это вполне естественно.

Речь шла об интеллектуальном и духовном развращении посредством идеологизации языка. Идеологическая утопия выражала себя в утопии лингвистической. Ее цель – приучить к рабству, а затем и заставить полюбить рабство. Всем сердцем, всей душой. Цензура была условием создания измененного сознания. Происходила сакрализация слова, призванного командовать миром, изменять мир. Изменение слова влекло за собой изменение мысли, а оно, в свою очередь, изменение мира (ср. известный тезис Маркса: "Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его"). Богоборческая суть этих претензий достаточно прозрачна. Справедливости ради надо сказать, что не менее действенным средством изменения мира было физическое насилие. Что же до насилия лингвистического, основанного на собственном язычестве магическом отношении к слову*, то оно было мощным средством создания новой реальности. Ответом на него был эзопов язык творческой интеллигенции, язык намеков и недомолвок.

Существовало два вида цензуры: институционализированная и самоцензура. Первый вид был не самым худшим ее вариантом. Гораздо опаснее была самоцензура, при которой происходила интериоризация цензурных требований.

Это приводило к деформации внутреннего мира ученого, к двоемыслию, а потом и к расколу сознания. Вначале человеку приходилось себя корежить, оправдываясь "обстоятельствами", а затем происходило усвоение "правил игры" и внутренняя капитуляция. Особенно этому были подвержены люди слабодушные, озлобленные карьерными соображениями. Однако ученые с крепким нравственным стержнем на эту удочку не попадались, хотя и вынуждены были идти на компромиссы.

Таким образом, цензура как школа неволи,

*Только ли язычеству? В Библии стоит: "вначале было слово". (Прим. ред.)

школа насилия над мыслью вела к духовному рабству интеллигенции, да и всего народа. Несколько поколений испытали на себе воздействие цензурно-идеологического прессы, и в результате миллионы людей сегодня – это люди с деформированным сознанием и травмированной психикой. Именно таковы участники коммуно-фашистских митингов и демонстраций. Быть может, не их вина, а их беда, что с детских лет и в течение всей жизни на них действовал механизм клиширования, упрощенных идей и примитивных лозунгов. Они стали жертвами идеологического импринтинга: марксистские догмы, стереотипы тоталитарной пропаганды намертво впечатались в их сознание. Деграция идеологизированной мысли, привычка к рабству вступили в конфронтацию с новой реальностью. Эти люди читали "Архипелаг ГУЛАГ", знают о сталинском геноциде и бесчисленных преступлениях режима, но не хотят этого знать, вытесняют это из памяти. Сознание таких людей, с крушением коммунизма и распадом советской империи утративших свою идентичность, бунтует и отторгает эту реальность как чужеродную и враждебную, как посягающую на их мертвые святыни.

Подводя итоги, надо сказать, что цензура была способом привития идеологической инфекции. Однако у многих эта инфекция не смогла преодолеть иммунный барьер. Не все определяла среда. Требовалось внутреннее согласие на зло, на интериоризацию цензуры. В одной и той же ситуации люди вели себя по-разному. В конечном счете все решает личность, ее позиция, ее установки, ее выбор. Человек не может снять с себя ответственность за свои поступки. В набоковском "Приглашении на казнь" осужденный не дает согласия на сотрудничество со своими палачами, отказывается принять "правила игры" – и все рушится, весь тоталитарный социум с его палачами, стукачами и цензорами.

Коммунистический режим в Советском Союзе рухнул под грузом собственных преступлений и собственных противоречий. В течение десятилетий происходила эрозия режима, и по мере нарастания этого процесса мертвая хватка цензуры ослабевала. Всегда находились люди, противостоящие духовному насилию. Дух вечен, и он возрождается в каждом поколении. Идеологическая утопия так и осталась утопией, она так и не смогла быть реализованной.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

В "ГЗ" №70 по техническим причинам выпала строчка в конце 2-й колонки на стр. 6.

Напечатано: льет кроко-

Следует читать: льет крокодиловы слезы по поводу трудностей, вызванных обменом денег.

Д. Штурман

“ОБЩЕСТВЕННОЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ” РОССИИ

Первого ноября 1993 года в телепрограмме “Момент истины” тележурналист А. Караулов (“Останкино”) с пристрастием допрашивал главу администрации президента С.А. Филатова.

А. Караулов был прежде всего удручающе непрофессионален. Он выглядел некорректным и бестактным. Естественная для журналиста некоторая провокационность вопросов, призванная стимулировать интересные для зрителей повороты и позиции собеседника, оборачивалась жестокостью и оскорбительностью предположений.

Журналист, высокомерный и время от времени снисходительный (но весьма монотонный по сути вопросов), явно работал на публику. Но не на ту бесхитростную и озадаченную широкую аудиторию, которая хочет **узнать, знать, разобраться**.

Интервьюер ориентировался на публику, искушенную и предубежденную. Упор делался на гвоздь всех расхожих антиельцинских филиппик: **вы** довели народ до нищеты; **вы** довели преступность до уровня, которому ужаснулся бы Щелоков; **вы** допустили появление “белых пятен” в газетах в первые дни чрезвычайного положения!

Что же интервьюируемый? Мягкий (по крайней мере – внешне), хорошо (в отличие от самоуверенного своего собеседника) воспитанный, сдержанный человек, озабоченный не своим “имиджем”, а грудой действительно тяжких задач, терялся перед жестоким и бесцеремонным натиском. Он не бил наотмашь даже тогда, когда резкий ответ лежал на ладони. Он словно взвешивал на весах своей совести все эти нарочитые, наигранные вопросы. И везде, где мог, брал вину или часть вины на себя.

Это бы ладно – в доверительной беседе с **другом** или под эпитрахилью, на исповеди. Но тут ведь наличествовала **аудитория**. И ей надо было говорить **правду**. И правда эта лежит у самой поверхности. А С.А. Филатов ее не требовал. И она осталась для аудитории темной.

К примеру: почему “вся президентская рать” так отпирается от инициации “белых пятен” в газетах в начале октября? Если людей три четверти века через газеты гипнотизировали бредом и – в состоянии очумелости – убивали и заставляли убивать, прикажете продолжать санкционировать бред?

И когда? В дни, когда над страной нависла вторая гражданская, когда малого эмоционального сдвига достаточно, чтобы волосок оборвался?

А. Караулов демонстрировал наглую стерлиговскую брошюру, купленную с лотка, и воз-

мущался, что такой торговли не пресекают. А в газетах, значит, пресекать такую же злостную поджигательскую провокацию **нельзя**?

Я бы предъявила Борису Николаевичу другую претензию (отною не по поводу цензуры против коммунистов-нацистов). Вот он все говорит, что советская власть – кончилась и радуется этому (будем надеяться, что **не** прежде времени). А в советах ли зло? Еще в 1921 году был выдвинут массовый лозунг: “Советы без коммунистов”. Да, советы ликвидируются (вроде бы). Но ведь именно коммунисты – с их партиями и с их прессой – пощажены и легализованы!

Они продолжают кооперироваться с другими реваншистами и реставраторами. Они допущены к участию в выборах. Так что дело Ленина – Зорькина живет и если еще не торжествует, то перестраивает свои ряды для наступления.

И опять же – так ли вяло и жалко следовало говорить, как говорил С. Филатов, о том, что не за три и даже не за восемь лет обнищала и прониклась преступностью страна, а за семьдесят пять лет? Я уже приводила страшную экономическую статистику самого конца дореформенных 1980-х годов. Позволю себе (с непоправимым для “Момента истины” от 1 ноября 1993 года опозданием) привести статистику **гораздо более раннюю**. В ходе информационного бума, вызванного косыгинской экономической реформой в середине 60-х годов, в СССР вышел ряд книг и статей, давших правдивую картину нормативных и реальных бюджетов трудящихся СССР того времени.

Итак:

По данным ЦСУ СССР, средняя заработная плата рабочих и служащих в промышленности СССР составляла **за 1968 год** 112.5 рубля в месяц, а с учетом использования общественных фондов – до 140 рублей.

Это обычное в советской статистике дополнение – за счет общественных фондов – неправомерно, ибо указанные фонды, во-первых, образуются за счет налогообложения, то есть за счет той же зарплаты, в то время как в цифре, характеризующей зарплату, налог не показан (дается зарплата всегда номинальная, до отчисления налога, а не истинная).

Во-вторых, доплаты из общественных фондов получают далеко не все категории работающих: здесь учтены пенсии, стипендии, стоимость обучения и бесплатных (то есть пропагандистских: за остальные жители платят) культурных мероприятий.

В-третьих, в сумме указанных выше выплат никогда не отмечается удельный вес собственных денег налогоплательщика, изымаемых из

его зарплаты, и государственных субсидий из других фондов.

Но примем и такой подход к делу: другой статистики нам взять неоткуда. Минимальная зарплата составляла с 1967 года 60 рублей в месяц – для городских рабочих и служащих, для колхозников и совхозных рабочих такого ограничения не было, а для сельских служащих нижний предел зарплаты ограничивался 50 рублями.

В селах РСФСР дело обстояло следующим образом:

“Известно, что оплата труда в колхозах Федерации за последние шесть лет выросла в полтора раза. Но средние заработки скрывают зачастую большие различия в уровне заработка разных профессий. В российских колхозах заработная плата на человека-день в 1964 году составляла:

Председатель колхоза	7,22 р.
Агроном	4,35 р.
Бригадир	3,01 р.
Тракторист	3,83 р.
Животновод	2,28 р.,
а занятый в полеводстве лишь	1,79 р.

Если же учесть, что самих-то человеко-дней у человека со штатной должностью больше, чем у “полевода”, то понятной станет сильная разница в годовом заработке. Средняя годовая зарплата по перечисленным профессиям выглядела соответственно так: 2223, 1270, 993 и 346 р.

Ясно, что и эти средние цифры сглаживают резкие ступени: в зависимости от экономики колхоза зарплата председателя колебалась в пределах 1746 – 3064 р., тракториста – 618 – 1116 р., полевода – 172 – 614 р.” (Ю. Черниченко. Помощник-промысел. – “Новый мир”, М., 1966, № 8, с. 163).

В месячном заработке этот разброс выглядел так:

Председатель колхоза	145,5 – 255,3 р.
Тракторист	54,2 – 93,0 р.
Полевод	14,3 – 51,1 р.

Наглядно выступает разница в заработке между председателем колхоза и самой массовой категорией его работников: полеводы составляли более 50% колхозников и совхозных рабочих Федерации.

Таковы средние заработки.

Соотнесем их с прожиточным минимумом. Н.П. Кузнецова и Г.С. Саркисян (“Потребности и доход семьи”. М., “Экономика”, 1967) разработали нормативный бюджет для средней советской семьи, состоящей из двух работающих взрослых и двух детей школьного возраста (в американской статистике рассматриваются обычно семьи из одного работающего и трех иждивенцев). Этот бюджет представляет собой прожиточный минимум и составляет 51,4 рубля

на человека в месяц.

Если бы сельскохозяйственное население СССР существовало (как того неоднократно требовала советская власть – от В.И. Ленина, боровшегося против предоставления индивидуальных огородов рабочим совхозов и членам коммун. до сталинского и даже хрущевского руководства) только на доходы от “общественного”, то есть государственного, хозяйства, то неквалифицированные “полеводы” давным-давно вымерли бы, как мамонты или ящеры.

Как по данным Ю.В. Арутюняна (“Опыт социологического изучения села”. Изд. МГУ, 1968, с. 48 – 49), так и по данным Ю. Черниченко (Помощник-промысел. – “Новый мир”, 1966, № 8, с. 138–164; Ржаной хлеб. – “Новый мир”, 1968, № 11, с. 177–207), никто из “полеводов” не зарабатывал в те годы достаточно для самого себя, не говоря уже об иждивенцах.

В. Райцин (“Нормативные методы планирования уровня жизни”. М., “Экономика”, 1967) приводит следующее распределение рабочих и служащих по душевому денежному доходу (первый столбец – группы по величине душевого дохода на члена семьи, в рублях; второй – удельный вес группы, имеющей такой душевой доход по отношению к общему числу рабочих, служащих и членов их семей, в процентах):

14 – 35	15,5
35 – 50	28,2
50 – 75	35,0
75 – 100	10,0
100 – 140	8,7
140 – 200	2,1
свыше 200	0,5

Такова кратчайшая выборка советских официальных данных “мирных” лет зари “застоя”.

Однако **нигде и никем** – с демократической стороны – не пропагандируется на массовом и доступном уровне, в кратчайших и ярких выборках статистика 1913 – 1990 годов (только 1990 – 1993, преимущественно – со стороны антипрезидентской).

Нигде и никем не разъясняется – опять же: на самом широком и доступном уровне – основная объективная, математически строго доказанная причина неработоспособности и обреченности на развал социалистической Системы. Между тем, даже ребенку можно доступно объяснить, что системой, в которой заключено бесконечно большое количество беспрерывно изменяющейся информации, нельзя эффективно управлять расчетными методами из стоящего над ней Центра.

Реформаторы **ничего никому** не объясняют: они только оправдываются, и то – бесполезно. В этом смысле трудно представить себе нечто более симптоматичное, чем доклад С. Филатова А. Карауловым.

Так и возникает в ушах вопрос, памятный по тем временам, когда у "народных судов" собирались досужие кучки пенсионеров, ожидающих детектива: "Кого судят, граждане?"

Любопытствующим отвечаем: судят президента России. С конца 1991 года. Перестают судить только в те короткие дни или часы, когда щупальца "гидры революции" (все еще той самой, 1917 года) подбираются к самому горлу судящих. Как только эти щупальца хоть ненадолго, под несмертельным шлепком Ельцина от горла судей отодвигаются, последние начинают "гидру" жалеть и защищать, а президента, посягнувшего на **"права человека"**, – судить. И Борис Николаевич переключается на заботу о том, как бы не ущемить **права спрута**.

Чем предопределены эти колебательные движения Ельцина, о которых остроумный Василий Илларионович Селюнин как-то обмолвился, что замах, мол, рублевый, а удар – удар какой-то не такой, господа?..

Конечно, отчасти они объясняются и характером президента: горяч, но отходчив. Чем-то напоминает боксера из спортивного цикла Владимира Высоцкого: "Бить человека по лицу я с детства не могу".

Отчасти мешает отсутствие у первого президента России профессионального политического опыта. Эта традиция утрачена под большевистским игом всей Россией. Нет в современном российском политическом сознании необходимых и непрерывно функционирующих историко-политических ассоциаций, нет школы решения как типовых, так и экстраординарных политических задач.

Ельцин честен, умен, обладает мужеством и руководствуется продуктивной стратегической целью – это уже чудо на российском политическом Олимпе. Есть у него и неигровое человеческое и лидерское обаяние – тоже плюс.

Но ситуация требует прежде всего умения доводить начатое до конца. А этого – нет.

Но всегда ли современное российское общество оставляет своему президенту такую возможность?

Помнит ли читатель, в чем Солженицын усмотрел основной генератор, побудивший Богрова к убийству Столыпина ("Август Четырнадцатого")? В **"общественном идеологическом поле"** тех лет, всячески поощрявшем левейший радикализм, героизировавшем террористов, окружавшем убийц ореолом великомученичества и святости.

Сегодня "общественное идеологическое поле" образованной и склонной к либерализму России обожествляет "права человека". Даже тогда, когда этот человек – спрут, оборотень, персонификация коммуно-нацистской Утопии.

Это "общественное идеологическое поле"

не может не воздействовать на президента и его окружение. В первую очередь, потому, что и президент, и его сподвижники тоже пребывают во власти своей психологической реакции на зверствования большевистской революции и стремятся не быть такими, какой была она. Они стремятся проявлять толерантность даже по отношению к нежити, пытающейся возродить это всенародное бедствие.

Было бы полезным все-таки проследить, в чем обвиняют президента те, кто, казалось бы, стоит по одну с ним сторону рва? фронта? баррикады? Хотелось бы выбрать слово из более цивилизованного лексикона, но война-то действительно идет.

Вот наиболее частые обвинения:

Ельцин два года занимался не экономикой, экологией и национальными проблемами, а борьбой с Верховным советом. Между тем, экономика развалилась, экология ухудшилась, а в национальном вопросе перейдена в ряде случаев грань между конфликтной ситуацией и войной.

В действительности же, бой был весьма своеобразным. Верховный совет и съезд волевали против Ельцина и правительства и не давали им довести до конца в неискаженном и неизуродованном виде **ни одного из их конструктивных решений!** А Ельцин и правительство лишь отбивались, да и то – в самых острых случаях.

Ничего из его задуманного и предложенного исполнительная власть не могла исполнить. Не помогали ни вспышки решимости, ни уступки, которые всегда оказывались односторонними.

Почему же средства массовой информации искажают картину этого боя? В силу навязчивой идеи, что они не должны быть слугами какой бы то ни было власти, не должны позволить сделать себя ручными, карманными.

Мысль о том, что печать, радио, телевидение могут быть не слугами, а сподвижниками реформаторского правительства, в головы большинства политических комментаторов и аналитиков не приходит. Либо рабство – либо конфронтация. До третьего посттоталитарное сознание не дозрело.

Изображать борьбу между "двумя ветвями власти" как **двустороннюю склоку – склоку вместо работы** – это либо некомпетентно, либо безответственно, либо нечестно.

Для Верховного совета мешать реформам правительства – это и была **основная работа**. Правительство же, президент должны были разрубить узы, мешавшие их работе, года за полтора до октября 1993-го. **Но общественное мнение заставило их дожидаться пролития первой крови от противной стороны.** Что,

впрочем, не избавило президента от упреков в агрессивности и жестокости.

Второе расхожее обвинение: Ельцин и Гайдар начали реформу наобум, наугад, а потому она стала шоковой, **что недопустимо, ибо мучительно**.

Это обвинение слишком серьезно, чтобы на него можно было не попытаться ответить.

Реформа превращения самого "зрелого", то есть застарелого социализма в мало-мальски нормальное, живое, способное изживать свои противоречия общество **беспрецедентна**. Поэтому не корректироваться по ходу действия она не может.

Ни один серьезный и честный аналитик и тактический оппонент реформы еще не предложил никакой принципиальной коррекции варианта Гайдара. Только частную и тактическую. Но к маю 1992 года первый правительственный вариант был сорван Верховным советом, пошел кувырком (либерализация цен практически без настоящей приватизации, отсутствие законодательства о земле и вообще – хозяйственного и частного права, возобновление дотаций бесперспективным предприятиям, комплексам и отраслям таковых – все это разрушило логику реформы).

Все продуктивные проекты законов были отвергнуты. Конституционный суд стал квазисудебным гарантом этого процесса. Мнимые "центристы" заголосовывали любой мало-мальски перспективный шаг правительства. Первая попытка Ельцина восстать против "власти Советов" кончилась сдачей (президентом) Гайдара и едва ли не отставкой самого президента.

Можно ли было проводить реформу медленно, мягко и постепенно?

Можно было – в эпоху солженицынского "Письма вождям" и сахаровского меморандума 1968 года. Тогда еще распад всего и вся не подошел вплотную к черте необратимости и непосредственной опасности для всего населения и природы страны. Но "вожди" не услышали предупреждений.

Можно было отчасти – в 1985 году, когда еще не развалилась окончательно политическая макросистема. В ее границах можно было начать снизу, с фундамента, с земли, **средством верховных решений и мероприятий**, экономическое преобразование социализма в нормальное общество.

Но инициатор "перестройки и гласности" М.С. Горбачев понятия не имел, **ЧТО ВО ЧТО** он собирается перестраивать. И уж во всяком случае никаких посягательств на социализм и партийно-советскую власть и в мыслях своих не допускал.

В конце 1991 года о радикальных, неотлож-

ных, но более или менее плавных реформах, что и планировалось российским президентом и правительством, не допускали уже мысли Верховный совет и съезд народных депутатов. И были они лишь видимой частью айсберга прежней Системы, ее сопротивления и тяги к реваншу. Вы помните, читатель, соотношение надводной и подводной частей айсберга? Примерно один к семи.

А экономика, экология и административная структура России продолжали рушиться все быстрее. Они рушатся с 1917 года, ибо **социализм (диктаторский моноцентризм)** – это **противоестественный способ организации для "больших систем" с бесконечным количеством непрерывно изменяющейся информации, содержащейся в их внутренних и внешних связях**. Еще полгода-год нарастающего политико-правового и хозяйственно-правового хаоса – и распад советской социалистической цивилизации с ее ядерно-ядохимикатной начинкой станет необратимым.

Что же до шоковой **терапии**, то медицине известны болезненные состояния, которые **лечат** шоком. Речь идет не о здоровых или почти здоровых людях, которых **пытали** (а кое-где еще и пытаются) шоком. Речь идет о больных, проходящих лечение в хороших, нормальных лечебных заведениях.

Шоком лечат обострения шизофрении, которые не удается прервать никакими иными средствами. Шоком, в крайних экстремальных случаях, иногда "заводят" остановившееся сердце или снимают его фибрилляцию.

Медицина ищет более гуманные способы и постепенно их находит. Но тот, кто впервые употребил это слово в отношении к процессам экономическим и социальным, ошибся. Метафора эта, в силу своей впечатляющей яркости, стала общим местом. И напрасно: больное хозяйство, больное общество, больную природу нельзя исцелить никаким одноразовым воздействием, в том числе – ударом или испугом.

Убрать можно было бы лишь актив сил, препятствующих длительной, радикальной и всепроникающей **терапии**. А вместо этого опять заработали "Правда" и "Труд". Бабуринов – Аксютин – Зорькин баллотируются в Думу, а "Гражданский союз" и партия Липицкого, вчера еще руководимая Ноздревым-Руцким, ходит в "центристах".

И еще позвольте поинтересоваться, какой шум был бы поднят либеральной печатью, если бы в Лефортове сидели не шесть, а, скажем, шестьсот очевидных подстрекателей, организаторов и участников коммуно-нацистского мятежа? Как в Нюрнберге. Я лично считала бы последнюю цифру явно заниженной.

Иерусалим

(Перепечатано из газеты "Русская мысль")

Протоиерей Д. Константинов

МИССИЯ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Российской эмиграции явно не везет, или просто еще не пришло время для серьезного и объективного анализа ее многогранной деятельности за семьдесят лет господства большевизма в России. Передо мной книга Михаила Назарова – “Миссия русской эмиграции” (Ставрополь, издательство “Кавказский край”, 1992, с. 416), посвященная, по мнению автора, русской эмиграции, а по нашему мнению, все же эмиграции **российской**, что, в общем, подтверждается и самим содержанием книги.

На титульном листе книги скромно указывается, что данное издание является лишь первым томом данного труда. Следовательно, можно ожидать и второго тома, с надеждой, что он будет более удачен, чем первый. Скажем прямо – книга М. Назарова нас не удовлетворяет по разным причинам. И главной причиной является то, что автор, по нашему мнению, не владеет темой, не знает достаточно хорошо всех проблем российской эмиграции, идет по проторенному пути преклонения перед элитой первой российской эмиграции, совершенно не знает роли и значения второй эмиграционной волны, отделяваясь уже набившей оскомину фразой, что она дала мало “мыслителей должного калибра”. И если прав автор в том, что “отбор этой волны эмиграции был проведен наиболее жестокими репрессиями власти над народом, то ее миссия и цель ее деятельности за рубежом остались им недопонятными.

Впрочем, дело с миссией российской эмиграции обстоит не совсем благополучно. Автор усматривает три функции (терминология М. Назарова) российской эмиграции. Первая функция заключается в том, чтобы сохранить память о дореволюционной России и ее национальное самосознание, стать в меру возможностей как бы “блоком памяти” своей нации, стать малой Россией за рубежом.

Вторая функция эмиграции – помощь антикоммунистическому движению на родине, оказывать возможную помощь всем борющимся с коммунистическим режимом в России.

Третья функция – осмысление трагического опыта революции.

Все три функции реальны в том смысле, что являются абсолютно бесспорными. Это факт. Но фактом является также и то, что автор почти полностью (за малым исключением) игнорирует главное: промыслительную роль российской исхода, наподобие исхода евреев из Египта. Мы возвращаемся сейчас на свою родину, отчасти так, как в свое время евреи входили в землю Ханаанскую. Наши странст-

вия, видимо, заканчиваются, что, однако, не дает права игнорировать эту сторону миссии российской эмиграции. А вообще говоря, трудно и почти невозможно писать об эмиграции двухтомную книгу, пробыв лишь пятнадцать лет на западе и не видев самого главного и великого в ее многострадальной жизни и в смерти. И это чувствуется при чтении книги М. Назарова. Автор знает о жизни российского зарубежья на основе изучения всякого рода материалов, но он не пережил с эмиграцией годы нашего лихолетья, и они остались для него отвлеченными “академическими” истинами, о которых он знает, но не более этого. Ум работает, но сердце отсутствует... И весь ужас эмигрантского противостояния большевизму и одновременно неоднократно и западному миру (например, выдачи эмигрантов советам) протекает между строк книги как через ситечко и куда-то исчезает. И в этом нет ничего удивительного, как нет ничего удивительного и в том, что снова и снова мы читаем бесконечные перечни представителей элитарных слоев первой российской эмиграции, но почти ничего нет о жизни и деятельности рядовых эмигрантов. Ведь речь в книге идет о миссии ВСЕЙ эмиграции, а не о спорах и раздорах ее элиты. Ведь нельзя же ограничиваться только перечислением отдельных лиц, давно набивших всем оскомину, и забывать о тысячах других, или скупом упомянуть, что большинство из них село за “баранку” парижских такси. Если уж писать о миссии эмиграции, так пишите, господа, не только о знаменитых, но и об Иване Ивановиче Иванове, подпоручике ударного офицерского Корниловского полка, о его жизни и деятельности в эмиграции, о его чаяниях и надеждах. Нету материала? Но тогда не пишите пока о миссии всей эмиграции. Будьте пунктуальны и академичны в этом случае и пишите о миссии российской интеллигенции или даже только о ее элите в эмиграции. Так будет точнее и менее претенциозно.

Большое и, с нашей точки зрения, не вполне оправданное место в книге занимает проблема “жидомасонского заговора”, а также участия эмиграции в движении масонов. Вопросы, несомненно, связанные с эмиграцией, но не являющиеся ни в какой степени определяющими миссию российской эмиграции. А между тем, именно этим, порядком поднаоевшим, проблемам и посвящены центральные главы книги. Между тем, участие эмиграции в масонских ложах – проблема исключительно опять элитарная и не относящаяся к рядовой массе первой и промежуточной (между первой

и второй) эмиграции. Уделяя значительное внимание именно этим проблемам, автор уводит нас от основной темы – миссии российской эмиграции в целом.

Отдадим должное... Автор собрал, несомненно, огромный материал о жизни и деятельности эмиграции, но распорядиться им он не сумел. Он уделяет часто внимание второстепенным деталям и пропускает главное, или несколько навязчиво предлагает тему о влиянии масонов в мировой политике, а равно о роли евреев в жизни мирового сообщества, сочетая эту тему с темой о сильном отравлении эмиграции все тем же масонством. И этими экскурсами в области, связанные с эмиграцией, но не являющимися чисто эмигрантскими проблемами, автор как бы размывает главное – религиозное значение российского эмигрантского исхода на чужбину и вытекающие из этого все остальные спектры деятельности эмиграции. Все это отчасти в книге есть, но отсутствие главного стержня, вокруг которого должны быть сгруппированы все остальные вопросы, не дает четкого представления о миссии российской эмиграции. И глава об “архиерейской войне” по поводу все тех же надоевших юрисдикций едва ли исправляет это положение. Но мы также можем отметить, что автор в некотором отношении перерос традиционное возмущение “юрисдикциями” и оправданно, например, считает, что процесс возникновения Американской православной церкви внутренне закономерен и, несомненно, в будущем найдет полное каноническое признание.

Не повезло в книге и второй многострадальной эмиграции. Феномен второй эмиграции заключался не в том, что, по мнению автора книги, в ней было мало крупных имен (эмиграция – это не “коллекция крупных имен”, а в том, что, вопреки всякого рода обоснованным предположениям и критическим замечаниям, вторая эмиграция явилась прежде всего распространителем заостренного религиозного мировоззрения, естественно, православия, а затем и других христианских исповеданий (например, католичества восточного обряда, российского сектантства и пр.). И если первая российская эмиграция в своем религиозном осмыслении действительности опиралась на православные храмы в Западной Европе, построенные еще во времена императорской России, то вторая эмиграция занялась храмо-строительством едва ли не по всей нашей планете. Православные храмы в Северной Африке, в странах Южной Америки (Бразилии, Венесуэле, Боливии, Чили, Аргентине, Парагвае, Уругвае), отчасти в Канаде и США, а также в ряде других стран, миссии и храмы восточного обряда, молитвенные дома баптистов, появились буквально везде. И, несмотря на это, лю-

ди, пытающиеся заниматься историей эмиграции, не понимают, что в религиозном отношении вторая эмиграция неизмеримо превзошла первую. И если первая эмиграция, оставаясь в основном религиозной, не проявляла особой религиозной ревности, то религиозная активность второй была феноменальной. И вот эта подлинная миссия эмиграции оказалась в книге М.Назарова, как и в некоторых других книгах, замолчанной или, в лучшем случае, смазанной.

Вторая миссия второй российской эмиграции – Освободительное движение народов России (в просторечии Власовское движение), состоявшее, в своем большинстве, из представителей второй волны, нашло достаточно полное отражение в книге М.Назарова. Отметим только, что не все сообщаемые данные соответствуют действительности. Власовское движение – нерукотворный памятник освободительного движения народов России – требует от пишущих о нем особенно тщательного и бережного отношения в смысле сообщаемых в нем фактов. Но, связывая Власовское движение, например, с проблемой пораженчества, автор не сумел дать те основы пораженчества во вторую мировую войну, которые по своему идеологическому и политическому кредо превосходят во много раз оборонческое шапкозакидательство.

Правильно отмечая безнадёжную ошибку немцев, не допустивших создания независимого российского правительства и независимой освободительной российской армии, автор не развивает эту проблему в полную силу, оставляя ее исключительно на разумение читателя. А проблема-то – коренная, определившая и решившая послевоенное положение в СССР.

Можно с несомненностью считать крупной ошибкой автора, что он не поместил в книгу, выходящей на территории России, полный текст власовского манифеста (Манифеста КОНР), снабдив его соответствующими комментариями и разъяснениями. Едва ли есть смысл излагать содержание манифеста, когда имеется его подлинный и, в общем, весьма краткий текст. А документ этот отражает во многом политическое мышление многострадальной второй волны, у которой есть чему поучиться...

Кстати, пытается М.Назаров кое-что сказать и по поводу организации церковного начала во власовской армии. “В частях, – пишет он, – появились священники, сначала под руководством о. Александра Киселева, затем архимандрита Серафима Иванова” (с. 311).

Мы позволили бы себе посоветовать М.Назарову заглянуть в хорошо известную ему книгу Хоффмана, на которую он часто ссылается, и прочитать, что там написано на странице 27

именно по данному вопросу, а также заглянуть в книгу чешского историка Станислава Ауски "Предательство и измена", где этот же вопрос излагается на с. 319 и на с. 281 в примечании 2, и где говорится также и о дабендорфском походном храме во имя апостола Андрея Первозванного, имевшем особое значение в истории РОА.

И едва ли стоит превращать трагическую историю, стоившую жизни многим людям, в партийную, надпартийную или постпартийную мифологию. Мы не склонны думать, что это сделано сознательно, но полагаем, что здесь у автора не было достаточно сведений о подлинной эпопее духовного становления РОА, или он был кем-то дезориентирован. Мы, со своей стороны, рекомендуем читателям, интересующимся этими вопросами, проштудировать нашу небольшую работу "Записки военного священника РОА" и сравнить ее содержание с тем, что пишет по этому поводу М.Назаров. Нельзя автору, взявшемуся за историю эмиграции, использовать только ему удобные письменные или печатные источники и игнорировать другие.

Не повезло многострадальной второй эмиграции и на "культурном фронте". Ее, в сущности, детище – Мюнхенский институт изучения СССР, получивший в шестидесятых годах всеобщее признание и ненависть Москвы, обойден молчанием, если не считать четыре скупые строки на с. 371. Сначала молчим, а потом упрекаем, что-де вторая эмиграция не проявила себя достаточно активно на научном и вообще культурном направлении. Ни звука и о том, как был продан Мюнхенский институт правительством Никсона "товарищу Брежневу", – пример весьма некачественного и подлого компромисса.

Не отражена в книге и подлинно гигантская борьба второй эмиграции в Южной Америке против репатриации одуроченных советчиками старых эмигрантов еще дореволюционного "призыва". В одной Аргентине их было более трехсот тысяч. Массовая репатриация этих лю-

дей была сорвана Союзом российских антикоммунистов, организованным в Аргентине. Уехало в СССР незначительное количество, не более трех тысяч, остальные опомнились и отказались ехать "на родину". Много в книге говорится о провокациях КГБ в отношении первой эмиграции, уделяется немало внимания знаменитому "тресту", но ни звука о том, как были убиты и замучены советской агентурой представители второй эмиграции – в Бразилии доктор Попов, а в Аргентине сотрудники газеты "Новое Слово" журналисты Николай Февр и Михаил Бойков.

Мы надеемся, что М.Назаров не обидится, если мы ему порекомендуем ознакомиться с двумя статьями в "Голосе Зарубежья" – "Борьба с советской репатриацией в Аргентине" (№26, 1982) и "Мюнхенский институт" (№29, 1983), что несколько расширит его представления о второй эмиграции.

Можно многое сказать о книге М.Назарова. Такие книги нужны и нужны прежде всего в России, но они должны быть написаны несколько иначе, более всеобъемлюще и более объективно, без внесения акцента только на пресловутых "знаменитостях", ибо история эмиграции – это прежде всего история зарубежного российского народа, героически борového с большевизмом даже до сего дня, а не отдельных лиц, несмотря на всю их значимость.

В заключение нашей краткой рецензии привожу несколько слов из 65-го псалма Давида, имеющего отношение к миссии российской эмиграции. "Благословите, народы, Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душу нашей жизнь и ноги нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши. Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всежжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей". (Псалом 65, ст. 8–14)

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Рукопись предлагаемой статьи великого экономиста Б.Д. Бруцкуса (1874 – 1938) была совсем недавно найдена его сыном среди старых бумаг. Это вполне законченная работа, подытоживающая, по словам автора, его почти 20-летние исследования хозяйства и некоторых других сторон жизни советской России. Первая его статья по этому вопросу "Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта", изданная в России в 1922 г., была высоко оценена Лениным: по его указанию автора изгнали из СССР. Она была переиздана в Германии, а затем вошла в книгу Бруцкуса, изданную в 1935 г. в Англии. "Самое важное исследование по экономике на русском языке в этом столетии" (Д.Г. Вильгельм), статья была в 1990 г. перепечатана в "Новом мире" (№ 8). Настоящая статья, во многом с ней перекликаясь, развивает и дополняет высказанные там идеи.

В первой главе Бруцкус кратко возвращается к рассмотренному в первой статье вопросу о победе социализма в одной стране, для чего нужна независимость от внешней торговли, а затем до-

казывает, что в СССР социализм действительно построен. Орудия производства обобществлены и хозяйство плановое, а не рыночное. План не зависит от спроса и предложения. Задача хозяйства не получение прибыли, а выполнение плана, и финансируются в первую очередь не отрасли, приносящие прибыль, а тяжелая индустрия, работающая в убыток. Бюджет строится не на прибыли, а на обложении предметов широкого потребления (налог с оборота) и почти бесплатном изъятии продуктов сельского хозяйства. Так Бруцкус устраняет путаницу, в которую впадали и враги режима, говорившие, что в СССР государственный капитализм, государство-монокапиталист и т.п. Придя к выводу о прочности социализма, он делает важное заключение, что перестройка советского хозяйства на капиталистический лад – процесс неизбежно длительный и сложный.

Во второй главе Бруцкус рассматривает “необоснованные претензии заменить регулирующие силы рынка статистически обоснованным планом”. В первой статье он показал, что для этого (говоря современным языком) поставленный над обществом центр должен перерабатывать бесконечное количество информации, что, понятно, невыполнимо. Здесь он показывает, что если при капитализме хозяйство развивается по своим законам, ставящим его на службу потребителям, и таким образом противостоит власти, то при социализме, находясь целиком в руках государства, оно насквозь политизировано. И пятилетки, для выполнения которых потребовалось “раскулачивание” и создание ГУЛАГа, продемонстрировали господство политики над экономикой в советском хозяйстве.

В третьей главе Бруцкус дает ответ на вопрос, возможен ли “социализм с человеческим лицом”. Революция это путь гражданской войны, какую может успешно вести только олигархия. А после победы в войне надо строить социализм, проводя неслыханную в мировой истории социализацию крестьянского хозяйства. Тут уж не до демократии, и даже олигархия сменяется единоличной диктатурой. “Нельзя создавать всемогущего правительства и надеяться, что оно будет хранителем права”. Идея социализма, несущего “всеобщее благо”, оправдывает все злодеяния: и голодомор, и раскулачивание, и ГУЛАГ. Высказанная Бруцкусом мысль, что социалистическая диктатура “может, конечно, погибнуть вследствие внутреннего разложения (признаки такого внутреннего разложения выступают весьма отчетливо в настоящий момент), от стихийных внутренних взрывов, от внешней катастрофы. Но нельзя рассчитывать на то, что она будет преодолена организованным общественным движением: для этого нет в социалистическом государстве никаких предпосылок” – эта мысль нуждается в уточнениях. С царской автократией борьба велась как легальная, так и подпольная, поддерживаемая почти открыто сочувствовавшими интеллигентами. Бруцкус все это видел. Но общественное движение не могло просто свергнуть власть; оно “всего лишь” стимулировало внутреннее разложение, в результате которого армия оказалась на стороне революции. Еще Энгельс писал, что армия легко подавляет любой бунт, если эта задача стоит перед ней лишь как чисто военная. Поэтому падение любой диктатуры может быть лишь результатом внутреннего разложения. Замечательно, что Бруцкус сумел разглядеть его признаки до 2-й мировой войны, когда большая часть активной российской интеллигенции еще верила большевикам. После войны процесс разложения резко ускорился. Главной причиной было разочарование широких масс, увидевших жизнь за рубежом и увидевших, что победа над Германией, потребовавшая столько героизма и жертв, привела лишь к новым массовым репрессиям вместо обещанного повышения уровня жизни. В тюрьмах и лагерях я встречал подпольщиков – молодежь, верившую в социализм, но отвергавшую “сталинизм”. Это движение нравственного сопротивления, вылившееся потом, в частности, в движение диссидентов, сыграло важную роль в разложении, приведшем к краху социалистической диктатуры и КПСС.

Предпосылки борьбы против строя следует, мне кажется, искать в психологии людей. Происходило примерно то, о чем писал Добролюбов в статье “Луч света в темном царстве”. Не героическое отрицание советской жизни, а невозможность мириться с ней рождала инакомыслие, проявлявшееся в пресловутых разговорах на кухнях. И, распространяясь вширь и вглубь, оно вело к разложению советского общества, где “на собрании говорили одно, дома – другое, а думали третье”. Шедший все время, этот процесс долгие годы не мог иметь внешнего проявления и, естественно, не мог быть известен Бруцкусу.

В заключении Бруцкус говорит о фашизме “в значительной мере (хотя и не исключительно) реакции против коммунизма” – и отмечает, что оба течения грозят гибелью современной цивилизации. Спасение он видит в окрепшей демократии, “преодолевшей социалистическое наваждение”, и в отказе от интегрального планирования – мысль, высказанная 5 лет спустя в известной книге Ф. Хайека “Дорога к рабству”.

Уже из этого краткого обзора видно, что статья Бруцкуса сегодня едва ли не еще более актуальна, чем тогда, когда она писалась. Я глубоко признателен Д.А. Бруцкусу, предоставившему мне неизданную рукопись своего отца.

Б.Д. Бруцкус

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И СОЦИАЛИЗМ

1. Хозяйственный строй в Советской России

“В России нет социализма, и там не хорошо”, “в России социализм, и там хорошо” – вот две формулы, которые характеризуют отношение к русской действительности демократической интеллигенции; первая формула характерна для русской зарубежной интеллигенции, вторая – для иностранной. Этим двум формулам я уже давно позволил себе противопоставить третью: “В России социализм, и там не хорошо”.

С момента октябрьского переворота я пришел к заключению, что большевики впервые в мировой истории серьезно взялись за осуществление социализма. Такая мысль в среде интеллигенции вызывала не только возражения, но часто даже негодование¹. Особенно нежелательным считалось высказывать подобные мысли перед иностранцами, ибо это могло бы реабилитировать большевизм в их глазах. Однако, в настоящий момент – к двадцатилетию октябрьского переворота и к завершению второй пятилетки – я надеюсь встретить более терпимое отношение к моим мыслям, и поэтому я позволяю себе поставить этот вопрос в настоящей статье во всей его широте.

Умеренные социалисты уже потому отказываются от признания большевистского опыта социалистическим, что он стоит в противоречии с прогнозами Маркса о наступлении социальной революции. Согласно взглядам Маркса социализм есть прежде всего движение индустриального пролетариата, а потому прежде всего индустриальные страны вроде Англии “созрели” для социальной революции, но в аграрных странах нет для нее перспектив.

Однако выдающийся русский политический мыслитель Александр Герцен был другого мнения. В своей знаменитой книге “С другого берега” он отнесся с большим скептицизмом к возможности социальной революции в Западной Европе – для этого она слишком проникнута духом “мещанства”. Наоборот, Россия, где крестьянство не выработало института частной собственности на землю и где царит дух общины, представлялась ему страной, призванной совершить социальную революцию. Герцен провидел русскую революцию за 70 лет².

Взгляды Герцена когда-то легли в основу идеологии революционного народничества и даже не остались без влияния на основоположников марксизма. В предисловии к Коммунистическому манифесту, написанном в 70-х годах, Энгельс признает, что благодаря наличию пережитков первобытного коммунизма для России открыт особый путь к социализму в

обход капитализма. Хотя Ленин претендовал быть самым ортодоксальным марксистом, но он все же прекрасно понимал положительное значение специфической психологии русского крестьянства для успеха социальной революции. Поэтому назавтра после октябрьского переворота он поспешил опубликовать известный декрет “О земле”, который в сущности стоял в противоречии с конечными целями социализма. Зато он вовлек этим декретом крестьянские массы в революцию и связал их с ней. Таким образом нельзя сказать, что русская социальная революция была чем-то совершенно непредвиденным и нелепым, как это часто утверждали. Впрочем, как правоверный марксист Ленин все же не считал Россию наиболее подходящей почвой для строительства социализма. Но, как известно, он рассчитывал, что русская революция зажжет “мировой пожар”, и тогда передовые индустриальные страны помогут большевикам достроить социализм в России. Лишь спустя 10 лет большевики окончательно убедились, что Запад совсем не торопится следовать примеру России. Троцкий остался верен своей идее “перманентной революции”, а русская коммунистическая партия вынуждена была пока примириться с лозунгом “социализм в одной стране”. Идея “социализма в одной стране” была почему-то встречена русской интеллигенцией с величайшим пренебрежением, а между тем она совсем не заслуживала такого к себе отношения. Социализм действительно трудно осуществить в революционном порядке в стране, которая очень сильно вовлечена в международный обмен. Это было одной из главных причин неудачи попытки социальной революции в Германии. И это соображение заставляет признать, что, вопреки господствующему мнению, Англия, которая даже 80% своего насущного хлеба получает из-за границы, является страной, наименее подходящей для успеха социальной революции³. Но ввиду безграничных естественных богатств России как раз ее хозяйство можно организовать на основах, приближающихся к автаркии, и действительно внешняя торговля России в последние годы сведена к ничтожному минимуму. Таким образом, как раз по отношению к России лозунг “социализм в одной стране” не включает в себе ничего утопического.

Долгое время могло казаться, что крестьянское хозяйство является непреодолимым препятствием для конечной победы социализма в России и что того компромисса, который намечался в период НЭПа, большевикам никогда не удастся ликвидировать. Это дало повод меньшевикам утверждать, что русская революция

была по существу совсем не социалистической, а буржуазной, и что если не сегодня, то завтра капитализм вылупится из-под социалистической оболочки совершенно сложившимся, как бабочка выходит из куколки.

Однако большевики сумели преодолеть и это самое серьезное препятствие для осуществления интегрального социализма в России, они разрушили крестьянское хозяйство и на его месте создали социалистическое сельское хозяйство. Они, таким образом, воочию доказали, что социализм можно создать творческим (и, если угодно, разрушительным) порывом хотя бы и на недостаточно зрелой почве, что социальная революция есть прежде всего акт воли, а не стихийной эволюции.

После этого, казалось бы, следовало сказать "chose jugée". И все же и до настоящего времени можно встретить в эмигрантской прессе длинные рассуждения на тему, что в России никакого социализма нет или что он там не настоящий. Причина, почему интеллигенция не согласна признать социализм в России осуществленным, состоит в том, что у нее связано с понятием социализма прежде всего представление об осуществлении всех ее общественных идеалов: всеобщего материального благополучия, равенства, полной обеспеченности, максимума свободы и культуры и т.д.

Так как этого как будто бы в России нет, то, следовательно, там нет и социализма. Однако все указанные блага искренно обещали и деятели Великой французской революции от осуществления их идей, и все же они строили общество на совершенно иных началах. Не надежды, связанные с осуществлением того или иного общественного строя, являются его конститутивными признаками, а некоторые его объективные черты.

Однако многие утверждают, что будто бы объективные признаки социализма весьма расплывчаты, что их совсем невозможно точно формулировать. Но ведь в данном случае речь идет не о социализме вообще, а лишь о марксистском социализме, т.е. о коллективизме. Большевики ведь хотят быть правоверными марксистами. И именно эта форма социализма представляет наибольший интерес, ибо все мировое рабочее движение находится под глубоким влиянием идей Маркса.

Конститутивные признаки коллективизма весьма определены и не возбуждают никаких сомнений – это 1) обобществление орудий производства и 2) плановое хозяйство. Благодаря обобществлению орудий производства государство вместо частных лиц становится полным распорядителем народного хозяйства, и одновременно с этим отпадают все нетрудовые доходы от владения землей и капиталом. Кроме того, коллективизм относится отрицательно

к регулированию хозяйства через рынок и надеется заменить его регулирующие силы статистически обоснованным планом. Плановое хозяйство коллективизм считает высшим достижением, и оно составляет его второй конститутивный признак.

Если мы хотим дать ответ на вопрос, является ли советское хозяйство социалистическим или нет, то наш ответ не может определяться тем, много ли счастья оно дало населению; исследованию подлежит лишь вопрос, обладает ли советское хозяйство указанными двумя конститутивными признаками коллективизма. При такой постановке вопроса ответ не может вызывать сомнений: советское хозяйство есть хозяйство социалистическое.

Советская власть социализировала не только орудия производства, но и все, что вообще можно было социализировать. Некоторой брешью в коллективизме могли бы показаться колхозы, которые по своей идее являются не государственными, а кооперативными предприятиями. Согласно новой конституции даже земля закрепляется за колхозами "навечно". Однако в советской России следует всегда различать между словом и делом. Фактически колхозы обязаны выполнять государственные планы засева, обязаны сдавать государству за бесценок громадные количества сельскохозяйственных продуктов, и управляются они людьми, которые не являются представителями интересов членов колхозов, а чиновниками советского государства.

Есть области, в которых социализация хозяйства имела столь катастрофические последствия, что советской власти пришлось пойти на некоторые небольшие компромиссы. Первоначально у крестьян социализировали все – до последней курицы. Однако вскоре большевики убедились, что скотоводство особенно трудно поддается социалистической организации; они создали поэтому известные возможности для развития частного животноводства. Однако это частное животноводство находится в полной зависимости от социализированного сектора хозяйства, ибо крестьяне должны получать корм для своего скота из колхоза. Крестьянину предоставили также возможность самостоятельно обработать 1/2 – 1 гектар земли. Находятся за рубежом экономисты, которые и в этом готовы усмотреть ликвидацию советского социализма. Но само собою разумеется, что ход развития русского народного хозяйства не определяется тем, имеется ли у колхозника коровенка и огород или нет.

Если мы говорим о господстве капитализма в Западной Европе и в Америке, то это совсем не значит, что он овладел там всеми элементами хозяйства. Сельское хозяйство в большинстве стран Запада сохранило еще свою крестьян-

янскую организацию, там не исчезло еще ремесло, и кооперация завоевывает там все новые и новые позиции. Все эти хозяйственные организации построены на основах, принципиально отличных от тех, на которых построен капитализм. Наконец, нигде и никогда государство не ограничивалось ролью "ночного сторожа", а в большей или меньшей степени влияло на процесс развития народного хозяйства. Если мы, тем не менее, называем хозяйство Запада капиталистическим, то мы хотим этим лишь указать на решающее значение капитализма в народном хозяйстве. Вообще же капиталистическое хозяйство Запада гораздо менее унифицировано, чем советское социалистическое хозяйство.

Однако против того, что в России утвердился социализм, выдвигается и такое возражение, что там нет равного вознаграждения за труд, а такое почитается почему-то многими конститутивным признаком социализма. В действительности социализм стремится лишь устранить нетрудовые формы дохода от владения землей и орудиями производства, но он не требует равного вознаграждения за труд; это вознаграждение может (и для достижения наивысшей производительности хозяйства даже должно) различаться в соответствии с квалификацией и производительностью труда. В России нет нетрудовых доходов; принцип "кто не работает, да не ест" там проведен весьма последовательно и накопление частного капитала там исклещено. С этой точки зрения социализм там осуществлен.

Перейдем теперь к вопросу о степени осуществления планового хозяйства. Здесь мне, конечно, укажут, что советские хозяйственные планы осуществляются весьма частично, что они сплошь и рядом приводят к совершенно непредвиденным последствиям, подчас катастрофическим. Что советское плановое хозяйство страдает громадными недостатками, не подлежит никакому сомнению, и этого советская пресса не скрывает. Но те, кто на этом основании готовы отвергнуть наличие в России планового хозяйства, забывают, что плановое хозяйство это не столбовая дорога, а новый путь экономического строительства, до сих пор еще не проторенный. Планированием хозяйства, хотя бы частичным, занимаются теперь во многих странах, и пути планирования не розами усыяны. Я только что прочитал в немецком журнале "Berichte ueber Landwirtschaft" обширную статью об опытах планирования сельского хозяйства правительства Рузвельта (т.н. Agricultural Adjustment Act). В выработке соответствующих планов участвовали лучшие американские специалисты (т.н. brain trust). После весьма тщательного изучения богатого материала автор пришел к заключению, что

планирование сельского хозяйства дало не те результаты, каких от него ожидали, что эти результаты были вообще неблагоприятны для народного хозяйства и что настоящее улучшение в экономическом положении фермеров вызвано совсем не этим планированием, а быстрым изживанием мирового промышленного кризиса. Если американский brain trust делает ошибки в опытах планирования, то да позволено будет делать ошибки и большевикам.

Но сколько бы мы ни критиковали советское планирование, все же нельзя отрицать того факта, что со времени вступления в силу первой пятилетки (и частично еще до того) советское хозяйство перестало быть рыночным и стало плановым. Когда Россия вступала в первую пятилетку, она далеко еще не оправилась от разорения, причиненного ей внешней и гражданской войной и социальной революцией. Население в период НЭПа уже не страдало от голода, не ходило голым и босым, но все же оно крайне скудно удовлетворяло свои самые элементарные потребности. В условиях рыночного хозяйства его накопления не могли быть значительны, и поскольку они имелись бы, они, естественно, направлялись бы на расширение тех отраслей производства, которые удовлетворяют элементарным неотложным потребностям населения, т.е. они пошли бы на расширение мелкого хозяйства, кустарной промышленности, легкой индустрии. Это приблизительно то направление, в котором, несмотря на давление советской власти, хозяйство развивалось под НЭПом. Вместо этого под пятилетками советской власти удалось осуществить громадное накопление капитала, которое в условиях рыночного хозяйства возможно только для очень богатого народа, и капитал этот был направлен на создание прямых гигантских предприятий тяжелой индустрии, которые в лучшем случае могут повысить благосостояние народных масс в отдаленном будущем, а в худшем случае, вообще, такого результата дать не смогут. В порядке рыночного хозяйства подобные результаты никогда не могли бы получиться. И в свете этого капитальной важности факта советская власть может с полным основанием сказать своим критикам: "пусть наше планирование было часто совершенно ошибочно, но все же нам принадлежит честь создания в великой стране первого интегрального планового хозяйства на месте рыночного". Против этого ничего нельзя возразить. Таким образом, советское хозяйство обладает и вторым конститутивным признаком социалистического: оно хозяйство плановое.

Однако тут против нас выступают некоторые экономисты, претендующие на особенное

глубокомыслие, с утверждением, что в России все же нет социализма, а что там капитализм, только не частнохозяйственный, а государственный. Таким образом, все дефекты советского хозяйства оказываются благополучно сваленными на бяку-капитализм, а ризы социализма остаются чистыми.

Как известно, под капитализмом разумеют такую организацию народного хозяйства, в которой непосредственной целью каждого предприятия является получение возможно большей прибыли на капитал. Однако такого положения в советской России нет, ибо основной задачей ее предприятий является исполнение заданных им планов производства, и эта основная цель совершенно отодвигает на задний план задачу извлечения прибыли. Почти все грандиозные предприятия тяжелой индустрии приносят регулярно громадные убытки, которые покрываются бюджетными дотациями. Такое положение в капиталистическом хозяйстве совершенно немыслимо.

Но, может быть, советское хозяйство в целом построено по капиталистическим основам? Однако и этого никак нельзя сказать. От продажи продовольственных продуктов советская власть выручает 25 млрд. рублей прибыли, которые она себе записывает в бюджет. Казалось бы, что дело это очень выгодное и что капиталы следовало бы направить на развитие сельского хозяйства. В действительности, однако, советская власть, увлеченная идеей индустриализации, весьма скудно финансирует сельское хозяйство.

Мало интересуется советская власть и развитием легкой индустрии, хотя и она приносит ей значительные доходы. Зато советская власть вкладывает громадные капиталы в строительство тяжелой индустрии, которой она, как мы только что указали, вынуждена регулярно выплачивать громадные дотации для покрытия убытков. В последние годы советская власть, правда, начинает требовать от тяжелой индустрии, чтобы и она сводила концы с концами. Однако весьма сомнительно, чтобы последней удалось достичь этой цели. Во всяком случае, при распределении капитальных вложений советская власть исходит из определенного априори обоснованного народнохозяйственного плана, но доходность предприятий совершенно не определяет этого распределения.

Наконец, и капиталонакопление происходит в советском хозяйстве средствами, которые совершенно не характерны для капитализма. Как известно, главным источником финансирования народного хозяйства является бюджет. Спрашивается, как складываются бюджетные доходы? Если бы в России существовал государственный капитализм, то бюджет, естественно, слагался бы из прибыли бесчис-

ленных и подчас грандиозных государственных предприятий. В действительности роль прибыли в государственном бюджете совершенно ничтожна. Бюджет построен на двух основаниях: на неимоверно тяжелом обложении индустриальных продуктов широкого потребления (налог с оборота) и на почти бесплатном изъятии сельскохозяйственных продуктов.

Мы имеем, таким образом, в советском хозяйстве организацию, построенную на принципах, глубоко отличных от капитализма. Те, которые утверждают, что русское хозяйство является только видимостью социализма, а что его видимая сущность есть государственный капитализм, обнаруживают не столько глубокомыслие, сколько незнание с внутренней структурой этого хозяйства.

Но в России социализм не только построен, он, кроме того, стоит довольно прочно. Станет ли во главе советской России на место Сталина, творца интегрального русского социализма, какой-нибудь другой диктатор, от этого еще структура советского хозяйства не изменится. Когда-то можно было думать, что с победой контрреволюции частное хозяйство будет немедленно восстановлено. Теперь об этом и думать нельзя. Создана громадная новая промышленность, во много раз превосходящая довоенную: на эту промышленность никто, кроме русского государства, претендовать не может. Кустарная промышленность, которая до войны и даже в годы НЭПа еще играла очень крупную роль в экономической жизни России, за минувшие десять лет разрушена, и ее традиции в значительной мере выкорчеваны.

Наконец, и социалистическое сельское хозяйство при всех его внутренних дефектах не может быть скоро заменено возрожденным крестьянским хозяйством. В России осталась только половина лошадей, и уже много лет прошло с той поры, как крестьянский инвентарь перестал там изготавливаться. Таким образом, обработка крестьянских полей правительственными машинно-тракторными станциями является на ближайшие годы необходимостью. Наконец, колхозная молодежь утратила в известной мере традиции крестьянского хозяйства. Постольку результаты коллективизации сельского хозяйства надо считать длительными. Конечно, мы не хотели бы сказать, что русское народное хозяйство не может быть перестроено на новых началах. Но этот процесс не может быть единовременным и простым, а должен быть долговременным и сложным.

Но почему же в России так тяжело живется? Почему там нет ни экономического благосостояния, ни обеспеченности, ни свободы, ни духовной культуры?

На это я себе позволю ответить так: а мо-

жет быть, социализм (в форме коллективизма) по своему внутреннему существу совсем не способен оправдать тех надежд, которые на него возлагают? Эта мысль, конечно, весьма дерзкая, ибо социализм является сейчас надеждой широких народных масс и широких кругов демократической интеллигенции. Идея социализма выношена в сердцах многих лучших людей человечества. Однако после двадцати лет строительства социализма в России, когда и вне России наметились сильные социалистические тенденции в государственной политике, которые также увенчались не очень-то блестящими результатами, да позволено мне будет высказать некоторые сомнения по поводу коллективизма и в особенности по отношению к его революционным формам.

Необходимо заметить, что, живя в Германии, я мог убедиться, что я там совсем не одинок в своих сомнениях в отношении коллективизма. Целая плеяда талантливых немецких ученых (Мизес, Хальм, Хайек, Ропке) ввиду надвигающегося коммунизма, – с одной стороны, и фашизма с другой, заняли критическую позицию по отношению к коллективизму. С русским опытом они недостаточно знакомы, они поэтому исходят главным образом из чисто теоретических соображений. Но эти соображения очень часто поразительно совпадают с мыслями, навеянными на меня русским опытом.

Проблема коллективизма весьма обширна, и я вынужден здесь ограничиться лишь несколькими общими соображениями.

2. Роковые вопросы социалистического хозяйства

Прежде всего коллективизм чрезвычайно опасен своим пренебрежительным отношением к рыночному хозяйству и своими необоснованными претензиями заменить регулирующие силы рынка статистически обоснованным планом. В действительности рынок является совершенно незаменимым орудием всякого построенного на сложном разделении труда народного хозяйства и, кроме того, он является одной из важнейших гарантий личной свободы в таком обществе. Рынок игрой сил спроса и предложения определяет не просто количество предметов потребления, которое может быть вообще сбыто, он определяет ту цену, которая может быть получена при сбыте определенного количества продуктов, он определяет напряженность общественного спроса на них. Этим рынок предметов потребления дает совершенно определенные директивы производству. Обычное противопоставление капиталистического хозяйства, как имеющего целью лишь извлечение прибыли (по-немецки *Profitwirtschaft*),

социалистическому, как призванному удовлетворять потребности населения (*Bedarfsdeckungswirtschaft*), принципиально ошибочно. В условиях конкуренции для предпринимателя нет другого способа получить наивысшую прибыль, как самым совершенным и самым дешевым способом удовлетворить потребности населения. И с другой стороны мы увидим, что как раз в социалистической организации таится наибольшая опасность, что производительные силы народа будут использованы для целей, не имеющих ничего общего с материальными нуждами масс. Рыночное хозяйство повернуто к потребителю, и оно чутко прислушивается к его желаниям и даже прихотям. Каждый потребитель, обладающий хотя бы скромным платежеспособным спросом, имеет голос в направлении производства: "a penny a vote" – сказал известный английский экономист.

Цены, которые игрой спроса и предложения создаются на рынке потребительских благ, в конечном счете механизмом вменения определяют и цены всех средств производства. И достигается эта оценка средств производства не в порядке теоретической конструкции, а практически – конкуренцией предпринимателей на рынке средств производства. И предметы потребления, и средства производства таким образом получают свою оценку. Эта система цен весьма совершенно регулирует производство и обмен без всякого центрального руководства. Перед всяким предпринимателем стоит совершенно отчетливая задача: так сбалансировать средства производства, чтобы получить наибольший доход. И этот механизм служит обеспечением того, что в бесконечно сложной организации менового хозяйства будет строго проведен хозяйственный принцип, т.е. что наибольший результат будет достигнут с наименьшими затратами.

Правда, с победой капитализма на основе рыночного хозяйства последнее начинает развиваться волнообразно: за подъемом хозяйства следует более или менее глубокий кризис. Однако пока эти кризисы обуславливались саморазвитием капиталистического хозяйства, они им спонтанно преодолевались, и за кризисом следовал еще высший подъем хозяйства. И только в последнем кризисе, необычайная острота коего обусловлена несомненно роковыми последствиями мировой войны, спонтанные силы менового хозяйства оказались неспособными предупредить глубокие расстройства в ходе его развития.

Всему этому чрезвычайно сложному, чрезвычайно тонкому, органически сложившемуся механизму противопоставляется статистически обоснованный априорный план. Если всмотреться в его статистическое обоснование, то ока-

жется, что это главным образом история рынка, это данные о том, сколько товаров и по какой цене продавалось на рынке. Эти данные, конечно, очень ценны, и капиталистическое хозяйство в настоящих весьма сложных условиях пользуется ими для своего планирования. Отсюда то значение, которое приобрели исследования конъюнктуры. Но все же предвидения на основании статистических данных имеют лишь весьма относительное значение. История рынка не может заменить самого рынка, и чем больше стареют статистические цифры, тем меньше их практическое значение.

Но, как мы указали, рынок является также одной из важнейших гарантий свободы личности. На рынке каждый может предъявить спрос в соответствии со своими индивидуальными потребностями, и этот способ удовлетворения потребностей должен быть противопоставлен системе "пайкового" распределения хозяйственных благ, к которому обычно приходит социализм. Наконец, при определении уровня заработной платы в порядке вменения сообразно предельной производительности каждой формы труда (профессиональные союзы при разумной политике этому не только не препятствуют, а содействуют) европейская цивилизация впервые в истории цивилизаций, построенных на сложном разделении труда и обмена, оказалась способной обойтись без принудительного труда. Способен ли коллективизм обойтись без принудительного труда – это весьма сомнительно. В 1921 г. Троцкий в одной из своих блестящих речей доказывал, что социализм без принудительного труда немыслим, и история двух пятилеток как будто подтвердила его мысль.

Марксисты, следуя завету своего учителя, усиленно занимались исследованием капиталистического хозяйства, но никогда они не задумались серьезно над тем, чем они заменят тонкий механизм рыночного хозяйства. Социалист обычно многое знает о капиталистическом хозяйстве, но он ничего не может сказать о социализме. Так как, однако, марксизм даже в своих самых умеренных течениях является революционным учением (торжеству социализма должна предшествовать социальная революция), то он не имеет права уклоняться от исследования проблемы механизма социалистического хозяйства.

Вероятно, большинству читателей известны те наивные суждения, которые высказал Ленин об организации хозяйства после социальной революции в своей брошюре "Государство и революция", написанной накануне октябрьского переворота. Дело организации социалистического хозяйства сводится, по его мнению, к регистрации работы и продукции и к выдаче соответствующих расписок, так что каждый

рабочий, знающий четыре арифметические действия, сумеет великолепно справиться с задачей организации социалистического хозяйства⁴. Впрочем, Ленин мог бы в свое оправдание сказать, что и его ученнейший оппонент Каутский в своей известной брошюре "Назавтра после революции" ничего с научной точки зрения ценного не мог сказать об организации социалистического хозяйства. Заслуга постановки проблемы социалистического хозяйства в науке принадлежит не социалистам, а их противнику, венскому профессору Людвигу Мизесу: он ее сформулировал в связи с новой апологией либерализма в вышедшей в 1922 г. книге "Die Gemeinwirtschaft", и с тех пор она действительно стала темой плодотворной научной дискуссии⁵.

Если, таким образом, марксисты никогда не задумывались над вопросом организации социалистического хозяйства, то все же *communis opinio* в их среде была мысль, что социалистическое хозяйство безрыночное и безденежное. Это и была руководящая идея большевиков в период, который они задним счетом окрестили именем "военного коммунизма", хотя их экономическая политика в этот период была продиктована не одними лишь военными соображениями.

Эта политика, как известно, привела к величайшей катастрофе, которая обескуражила даже большевиков, несмотря на то, что у них чего-чего, а самоуверенности достаточно. За границей обычно полагают, что причина неудачи была в "незрелости" русского хозяйства для социализации. Мнение это совершенно ошибочно. Наименее зрелое для социализации русское сельское хозяйство даже в момент своей наибольшей деградации сохранило $\frac{2}{3}$ своих посевных площадей и $\frac{2}{3}$ своего скота. Напротив, наиболее зрелая для социализации русская крупная промышленность сократила к 1921 г. свое производство до 13%.

Причиной крушения хозяйства была принципиальная несостоятельность самой идеи натурально-хозяйственного социализма. Для Главков и Центров, распоряжавшихся распределением средств производства, при отсутствии цен не было никаких рациональных критериев для исполнения этой задачи. А так как средства производства комплиментарны (т.е. производство может идти лишь при наличии многообразных средств производства в определенной количественной комбинации), то работа социализированной промышленности должна была неизбежно приостановиться. Кроме того, как уже усмотрел Бухарин в своей "Экономике переходного времени", в производстве, в котором нельзя найти общего мерила для расходов и доходов, хозяйственный принцип введен быть не может. Большевики надеялись,

что все эти дефекты будут покрыты интегральным социалистическим планом. Однако оказалось, что на натуральной основе и никакого плана невозможно разработать.

Скажут, что, конечно, без мерила ценности обойтись невозможно, но его незачем искать на рынке, его можно найти в самом производстве измерением трудовой стоимости хозяйственных благ. Советская власть действительно сделала в 1920 г. опыт в этом направлении и предписала своим предприятиям произвести исчисление трудовой стоимости продукции.

Опыт был безрезультатен, и советская власть уже его не повторяла. Да и нетрудно видеть, что этот опыт, основывающийся на давным-давно преодоленной в науке теории, не мог дать никаких результатов. Вычисление трудовых стоимостей есть задача едва ли исполнимая, ибо ведь в каждом производстве мы пользуемся предметами предшествующих производственных процессов. Но если бы эта задача была исполнима, то эта работа была бы все же бесплодной. У нас нет никаких критериев для сведения труда разной квалификации к единице, и если говорят, что для этого следует воспользоваться известными коэффициентами, то эти коэффициенты все-таки останутся неизвестными, даже если мы их назовем известными. И разве могут иметь какое-либо реальное значение цены, при определении коих считаются только с количеством затраченного труда, но не считаются с количеством использованного капитала и использованных естественных богатств? И в конце концов цена, не выражающая напряженности спроса, никогда не приведет производство в согласие с его требованиями.

После катастрофы 1921–22 гг. большевики раз и навсегда оставили идею натурально-хозяйственного социализма. Наоборот, на Западе эта идея далеко еще не преодолена.

Теперь большевики искали спасения из хаоса в восстановлении рынка. И в этом они не ошиблись: процесс восстановления хозяйства пошел под НЭПом в гораздо более быстром темпе, чем после ужасного разрушения можно было ожидать. Но скоро обнаружилось, что если рынок является весьма совершенным регулятором частного хозяйства, то его регулирующее влияние на монополизированное государственное хозяйство недостаточно. Отсюда попытки его регулирования в плановом порядке.

Только теперь, когда рынок был восстановлен и денежная система упорядочена, выработка общего народнохозяйственного плана стала возможной. И в августе 1925 г. появился первый такой план под названием "Контрольные цифры Госплана на 1925–26 гг."

Спецы, разрабатывавшие контрольные ци-

фры в Госплане, считали основой плана системой цен. Но все же они хотели бы быть осторожными, они не хотели бы разрушить системы НЭПа, при которой хозяйство так скоро оправлялось. Поэтому они вычисленные ими цены считали не более, как директивами; они не хотели насиловать рынка окончательной фиксацией цен. На этих основаниях составлялись контрольные цифры в течение ряда лет. И даже пятилетний план, который составлялся спецами под сильнейшим давлением советской власти, обуреваемой максималистскими тенденциями, еще рассчитывал, что его цены будут свободно подтверждены рынком, который совсем не предполагалось разрушить; напротив, если бы рынок не подтвердил некоторых цен, то следовало бы соответствующим образом изменить планы.

Так думали спецы, но не так думали обретшие свою обычную самоуверенность большевики. Они ни в коем случае не хотели корректировать плановой системы цен согласно указаниям рынка и таким образом они разрушили рынок еще до вступления в силу пятилетнего плана. В годы первой пятилетки мы уже имели перед собой такую картину, что у населения все забирается государством по фиксированным ценам; все продукты потребления распределяются кооперативами в пайках, а средства производства распределяются производственными объединениями между трестами согласно генеральным договорам. При всем том хозяйство под пятилеткой было организовано совершеннее, чем в эпоху "военного коммунизма". Его главное преимущество заключалось в том, что оно все же принципиально осталось денежным и в определении цен могло в известной мере исходить из системы цен, определившихся в период НЭПа⁶. Это создавало кое-какие возможности для рационального передвижения хозяйственных благ, для минимального контроля за ходом производства в порядке "хозрасчета", для более или менее точного выполнения бюджета и для составления минимально обоснованных планов. Однако, чем больше НЭП уходил в прошлое, чем больше росло денежное обращение, тем больше реальное значение плановых цен падало. Советская власть стала все более ощущать вырождение хозяйства, и это заставило ее в последние годы сделать новую попытку восстановить рынок. Но вопрос о совместимости интегрального социалистического хозяйства с рынком остается нерешенным. Во всяком случае первой предпосылкой такого согласования явился бы отказ от грандиозных строительных планов, составляющих гордость коммунизма.

Если мы теперь себя спросим, что дали две пятилетки России, то наша оценка будет связана с нашим пониманием существа хозяй-

ства. Если хозяйство есть нечто совершенно объективное, совокупность "производительных сил", как говорят марксисты, т.е. фабрики, рудники, электрические станции и т.д., то мы очень высоко оценим результаты пятилеток. По сравнению с довоенным временем количество добываемого угля возросло в 4 раза, количество добываемой нефти возросло в 4 раза, выплавка чугуна возросла в 4 раза и передвижение грузов тоже возросло в 4 раза. Это ли не успех?

Но тех, для которых хозяйство не есть нечто объективное и не самоцель, для которых оно лишь средство для удовлетворения потребностей народных масс, эти факты не обольщают. Всем известно, что первая пятилетка вызвала резкое понижение уровня жизни как рабочих, так и крестьянских масс, и что она закончилась двумя голодными катастрофами 1932 и 1933 гг., стоившими жизни неисчислимому количеству людей. И на обеих пятилетках лежит Каинова печать принудительного труда. Предвидение Троцкого оправдалось: строительство социализма без многих сотен тысяч, а может быть, даже миллионов принудительных рабочих оказалось невозможным. На "раскулачивание" сотен тысяч крестьянских семейств, на ссылку тысяч и тысяч интеллигентов мы слишком односторонне смотрим как на проявление бескрайнего большевистского террора. При этом совершенно упускается из виду, что главным мотивом для этих ужасающих мероприятий было благополучное завершение планов социалистического строительства. Достаточно внимательно вчитаться в грандиозные планы использования природных богатств далеких и пустынных русских окраин, начертанные в пятилетках, чтобы убедиться в том, что планы эти без сотен тысяч принудительных рабочих и без тысяч ссыльных интеллигентов неисполнимы. Те, кто любят величие Днепрогэса и Магнитогорска, не должны забывать про те сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которые под охраной чекистов рубят северные леса и добывают руды в заброшенных за тридцать земель рудниках или прокладывают каналы "среди топи блат".

Скажут, что все это так, все это было, но теперь, когда фабрики построены, машины поставлены, рудники вырыты и дамбы проложены, все должно измениться к лучшему, и уровень благосостояния масс должен подняться. До сих пор улучшение идет весьма медленно, ибо все эти громадные сооружения воздвигнуты без хозяйственного расчета и работают

они нехозяйственно. Отсюда и получается та странная картина: кипучая хозяйственная деятельность, титанические фабрики непрерывно работают, громадное, небывалое в довоенной России, передвижение грузов, а жизнь масс населения все так же бедна и сера. Дело совсем не обстоит так, что каждая работающая фабрика, каждый действующий рудник обогащают население – они могут его разорять. Мой скептицизм не идет так далеко, чтобы считать все жертвы, принесенные населением под пятилетками, бесплодными; многие осуществленные планы были целесообразны и в свое время благоприятно повлияют на экономическое благосостояние населения. Но только контроль рынка может дать оценку грандиозным предприятиям пятилеток, и нельзя сомневаться, что, согласно указаниям рынка, немало грандиозных предприятий надо будет ликвидировать.

И имеется еще причина, почему советское хозяйство так плохо обслуживает нужды населения. Я уже выше указал, что противопоставление социалистического хозяйства как повернутого целиком к обслуживанию нужд населения капиталистическому неправильно. В капиталистическом обществе даже абсолютная власть не может свободно распоряжаться в хозяйстве. Последнее всегда противостоит власти как нечто, развивающееся по своим имманентным законам. А эти законы ставят хозяйство на службу потребителям. Напротив, при социализме хозяйство находится целиком во власти государства. И вот перед властвующей группой стоит великий соблазн использовать силы хозяйства для укрепления своего могущества. Против этого соблазна она устоять не может и в оправдание она всегда сумеет отождествить свое благополучие с интересами... мирового пролетариата, мировой революции и тому подобных великих идей. Таким образом интегральный социализм совсем не является хозяйством, призванным служить нуждам населения (*Bedarfsdeckungswirtschaft*), это хозяйство насквозь политизированное, и потому, между прочим, во главе его не могут стоять спецы, а должны стоять политики – члены правящей партии.

В своей речи от 7 января 1933 г., в которой Сталин резюмировал результаты первой пятилетки, он совершенно открыто заявил, что собственному хозяйству можно было бы дать другое направление, которое гораздо лучше удовлетворило бы потребности народных масс. Но в таком случае, сказал он, не были бы достиг-

нуты другие цели, которые он считает более важными, чем удовлетворение потребностей народных масс. Какие же это цели? Сталин назвал их три: 1) вооружение; 2) независимость от капиталистического окружения (автаркия) и 3) завершение социалистического строительства. Ни одна из этих целей не является экономической, и Сталин констатировал лишь факт господства политики над экономикой в советском хозяйстве.

Мне скажут, что все это не было бы страшно, если бы в России власть была демократической, и что вся беда в утвердившейся в России диктатуре. Мы видим таким образом, что обсуждение вопросов хозяйства переводит нас к обсуждению других проблем социальной жизни России. И действительно, проблема социализма не является только экономической. "Soviet Russia. A new civilization?" – таково заглавие новой книги, напечатанной супругами Вебб. В дальнейшем я позволю себе лишь весьма кратко коснуться связи социализма с некоторыми другими сторонами общественной организации.

3. Социализм и свобода

В начале апреля 1921 г. мне в качестве гостя пришлось присутствовать на заседании Петросовета в б. Таврическом дворце. Заседание это происходило сейчас же после подавления Кронштадтского восстания и имело в известном смысле историческое значение. Председательствовал Зиновьев, имевший тогда очень самодовольный вид, на эстраде сидело много видных большевиков. Заседание открылось подробным докладом председателя Чека Комарова об обширной деятельности этого учреждения по исследованию виновников восстания и их наказанию. Затем следовали доклады б. комиссара Кронштадта Козлова, некоторых военных о ходе борьбы с повстанцами, Иоффе, тогдашнего посла в Германии, о связи Кронштадта с иностранными державами и т.д. Говорили, конечно, только лица официальные, с положением. В результате Петросовет без возражений единогласно одобрил деятельность президиума и Чеки. Поздно ночью разъезжались мы в поданных для нас трамваях. В трамвае, где я сидел, было тихо, чувствовалось подавленное настроение, и попытки затянуть революционные песни срывались. Кронштадтское восстание имело отголосок в среде рабочих в Петрограде и вызвало ряд сочувственных демонстраций; массовые расстрелы матросов, бывших зачинщиков октябрьского переворота, вызвали в рабочей среде возмущение. И все же ни в заседании, ни даже в трамвае никто не решился проронить слова по поводу восстания. А между тем, ведь три года

до того Петросовет был одной из руководящих революционных организаций, и самая революция-то была произведена под лозунгом "вся власть советам!" Так почему же советы, учреждение в основе своей народное, превратились в жалкую декорацию коммунистической олигархии, в свою очередь выродившейся в период пятилетки в единоличную диктатуру?

Я думаю, что такое развитие будет всегда типично для революционного социализма. Социальная революция это путь жестокой гражданской войны, и иным путем она осуществлена быть не может. Но вести тяжелую войну под эгидой демократии невозможно; такую войну может успешно вести только олигархия. После войны начинается период ускоренной социалистической перестройки общества. Как мы уже указали, революционным социалистам приходится идти не по торному пути, надо прокладывать дороги через неведомые дебри в социалистический град Китеж, надо делать социальные опыты над живым телом народным. Можно ли такое сложное дело, требующее неисчислимых жертв, доверить демократии? Последняя так же неспособна к строительству социализма, как она неспособна вести гражданскую войну. Не только здесь невозможна гражданская демократия, но невозможна и партийная демократия. А когда темп строительства социализма становится стремительным, когда надо проводить такие грандиозные мероприятия, неслыханные в мировой истории, как социализация крестьянского хозяйства, то ликвидируется и олигархия партийной верхушки и заменяется единоличной диктатурой. Вся эта эволюция не случайна, она имманентна революционному социализму.

А когда строительство социализма закончится, тогда раз сложившаяся диктатура найдет еще достаточно оснований, чтобы сохранить за собой полноту власти. И самое главное основание – это вопиющая к небу пролитая коммунистами кровь. И невелико будет значение октроированной диктатурой конституции, ибо ведь она не вырвана в порядке общественной борьбы, а просто подарена прихотью властелина. Общественное же движение под эгидой социалистической автократии развиваться не может, ибо у него нет (настолько и пишущий эти строки марксист)... никаких материальных предпосылок. Едва ли найдется страна с более глубокими традициями подпольной работы, чем Россия; десятилетиями вела русская интеллигенция в подполье героическую борьбу с царской автократией. Методы управления советской власти по своей жестокости, по их элементарной грубости нельзя сравнить с методами управления царской автократии. И все же подпольная борьба с этим режимом очень ра-

но прекратилась и позже уже не возобновлялась.

Мы, конечно, не хотели бы этим сказать, что социалистическая диктатура неразрушима. Она может, конечно, погибнуть вследствие внутреннего разложения (признаки такого внутреннего разложения выступают весьма отчетливо в настоящий момент), от стихийных внутренних взрывов, от внешней катастрофы. Но нельзя рассчитывать на то, что она будет преодолена организованным общественным движением; для этого нет в социалистическом государстве никаких предпосылок.

Нельзя создавать всемогущее правительство и надеяться, что оно станет хранителем права. Только так называемое буржуазное государство, которое стоит на основе частной собственности, которое не обещает сделать граждан счастливыми, а предназначено только к созданию обстановки, при которой они сами смогли бы себя сделать счастливыми, только такое государство может быть правовым, только в рамках такого государства могли быть провозглашены права человека и гражданина. Но если на государство возлагается обязанность осчастливить граждан, то перед органами власти такого государства надо расступиться, им необходимо дать всю полноту власти, а граждане, частная инициатива коих заранее признана вредоносной, не могут претендовать ни на какие права. И совершенно последовательно Ленин не переставал подчеркивать, что диктатура пролетариата не считается ни с какими законами, ни даже с законами, ею написанными.

И совершенно последовательно комиссар юстиции Стучка обучал нас, что закон есть не больше как "техническое правило", которым, если власти удобно, она руководится, а если ей неудобно, то она не руководится. С того времени как Стучка произнес свои крылатые слова, утекло много воды. Центральное правительство при всей его диктаторской власти над аппаратом все же от времени до времени приходит в ужас от того, что он выделяет с населением. И тогда в советской прессе поднимаются крики о "революционной законности". Не следует преувеличивать значения этих криков. Слишком безграничны обязанности органов социалистической власти, чтобы можно было создать для их выполнения законные рамки; самое важное должно быть предоставлено их усмотрению - "революционной совести" партийцев.

И даже самые ужасные деяния советской власти еще укладываются в программу строительства социализма. Едва ли можно найти в мировой истории деяние более отвратительное, чем "раскулачивание": пятьсот тысяч, а

быть может, даже целый миллион крестьянских семейств (советская власть своих жертв не считает) были выброшены из собственных усадеб, из собственных жилищ, которые они и их отцы строили, на покрытые снегом улицы.

Но когда мы обращались к иностранной радикальной интеллигенции с требованием протеста, то их представители отвечали нам следующими словами: "Помилуйте, происходит событие всемирно-исторического значения. Социализированный город завоевывает патриархальную реакционную деревню и перестраивает ее по своему образу и подобию. Это требует жертв?! Что же делать?! Так вершится история. Если вы за социальную революцию, то вы должны мириться с этими жертвами".

"Sie haben keine Distanz" – обучали они нас с укоризной. Пожалуй, логика была за ними. Если стоять за социалистическую революцию, то надо мириться и с такими деяниями. Вот и высокогуманное супружество Вебб находит много доводов для весьма мягкого отношения к "раскулачиванию". Говорить о правах личности в государстве-Левиафане, которому все принадлежит, которое является единственным работодателем (над этим надо задуматься – единственным) не приходится. Представителю власти здесь даже не надо наказывать гражданина, он ему только отказывает от службы, а тот все равно помрет с голоду. Этим объясняются те факты ужасной моральной деградации представителей интеллигенции в России, той самой интеллигенции, которая до войны удивляла мир своим гражданским мужеством и героизмом. Впрочем, истинное настроение этой интеллигенции нам неизвестно, ибо оно не может получить своего внешнего выражения.

"Казенные перья!" – сколько презрения мы вкладывали до войны в эти слова. Но ведь в социалистическом государстве все казенное, и, следовательно, и перья не могут не быть "казенными". "Сны и невысказанные желания у нас дозволены!" – так формулировал с большим самодовольством "Magna Charta Libertatis" советского гражданина (в сущности даже партийца, т.е. привилегированного гражданина) Томский на съезде партии в 1927 г. Через десять лет он ощутил роковое значение своих слов на собственном опыте и предпочел добровольно уйти из жизни.

"Soviet Russia. A new civilization?" – так озаглавили Веббы свою обширную работу. Они могли бы смело отбросить вопросительный знак. Да, это новая цивилизация. Но она оторвалась от всех высших достижений европейской цивилизации, и для кого эти начала составляют высшую ценность, те с этой новой цивилизацией никогда не примирятся.

4. Заключение

Настоящая статья заключает мою почти двадцатилетнюю работу по исследованию хозяйства, а также и некоторых других сторон жизни советской России, она является резюме моих размышлений о социализме. Появление ее совпадает с моментом, когда в силе не марксистский социализм, а фашизм, когда последний находится в наступлении. И вот мне не хотелось бы, чтобы моя статья была истолкована как апология фашизма. Последний является в значительной мере (хотя и не исключительно) реакцией против коммунизма¹. Но эта реакция, главной идеей коей является бескрайний (а в Германии даже бестийный) национализм, усвоила себе центральную идею большевизма: идею тоталитарного государства, представляемого одной партией. Правда, признание частной собственности все же ставит здесь произволу государственной власти кое-какие границы. Однако фашизму (не во всех странах в одинаковой мере) свойственен поклон к социализму, хотя и с отличными от пролетарского социализма целями; и поскольку социалистические тенденции в нем утвердятся, увеличится его разрушительная сила.

Можно утешаться тем, что давление наступающего фашизма несколько нейтрализуется противодействием марксизма. Но, в конечном счете, оба течения грозят гибелью современной цивилизации. Спасения от нее автор ожидает лишь от окрепшей демократии, и для этого последней необходимо преодолеть социалистическое наваждение. Мы далеки от мысли проповедовать сейчас подобно тому, как это делает Мизес, "laissez faire, laissez passer!" Современная демократия не должна быть социа-

листической, но должна быть социальной. Она должна стоять на страже интересов народных масс в особенности в современную эпоху, когда развитие монополистических форм капитализма может легко вести к злоупотреблению экономической силой. Последний исключительно тяжелый экономический кризис вынудил правительства разработать целую систему мероприятий для ослабления его отрицательных последствий. Некоторые подобные мероприятия были удачны и помогли преодолению кризиса, другие были неудачны. Но попытки интегрального планирования, за которые с большим рвением принялись особенно некоторые фашистские государства, привели к политизированию хозяйства и имели особенно губительные последствия для мировой торговли, деградация коей грозит серьезным понижением уровня жизни народных масс во всех культурных государствах.

В таком интегральном планировании нет необходимости, ибо спонтанные силы капиталистического хозяйства в конце концов обещают преодолеть и этот небывалый по глубине кризис, если злоупотребления интегрального планирования не парализуют их действий.

Интересы борьбы с кризисом не требуют ни ликвидации частной собственности, ни подавления частной инициативы. И поскольку демократия становится на эту дорогу, она подвергает опасности свое существование; перед ней разверзается пропасть, которая может ее поглотить.

Демократия или преодолевает социалистическое наваждение или роковое предсказание Шпенглера "Der Untergang des Abendlands" осуществится.

Иерусалим, август 1937 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Конечно, вы, буржуи, хотели бы это позорище выдать за социализм! – сказал мне с горечью в декабре 1917 г. в Москве старый подпольный деятель, один из создателей еврейского Бунда.

² Вспомним, что и Лермонтов в пророческом стихотворении предсказал русскую социальную революцию и даже описал ее ход.

³ Скажут, что социальная революция в Англии сопровождалась бы социальной революцией и во всех ее колониях. Но прежде всего, даже и после Оттавы, расширившей экономические связи Англии с ее колониями, они все же не играют доминирующей роли в ее торговле. И кроме того, важнейшие английские колонии являются почти самостоятельными государствами, экономическая структура их весьма различна, и совершенно нельзя предвидеть того, что они вдруг одновременно с метрополией "созреют" для социальной революции.

⁴ Брошюра Ленина "Государство и революция" была, впрочем, не научным исследованием, а призывом к восстанию, и для его организатора было с логической точки зрения очень выгодно уверить своих соратников, что дело строительства социализма очень простое.

⁵ В августе 1920 г. мне представилась возможность прочитать в Петрограде в общем собрании КУВУ критический доклад о социализме, навеянный большевистским опытом, исходные пункты коего совершенно совпадали с таковыми проф. Мизеса. Мой доклад в расширенном виде был в 1921 – 22 гг. напечатан в трех книжках "Экономиста", журнала, короткое время издававшегося Русским Техническим Обществом Петрограда. Он вышел в 1923 г. на русском языке в Берлине под заглавием

"Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу русского опыта", в 1928 г. на немецком языке под названием "Die Lehre des Marxismus im Lichte der russischen Revolution", и он в сокращенном виде вошел в состав моей последней английской книги "Economic Planning in Soviet Russia".

* Правда, в 1930 г. и в начале 1931 г. среди коммунистов опять наметились тенденции разрушить окончательно денежную систему, ибо ведь только в безденежном хозяйстве, в котором никакого, даже весьма условного "хозрасчета" нет и не может быть, своя рука владыка. Однако окрик Сталина в его речи от 23 июня 1931 г. на 2-м съезде хозяйственников объявившего, что каждую попытку возврата к безденежному хозяйству он будет считать "троцкистским уклоном", имел благодетельное значение.

Случайно мне пришлось это очень явственно ощутить. В марте 1922 г. я по частному делу сидел в приемной 3-го Интернационала, который тогда помещался в большом белом доме в начале Вседвиженки против манежа. Перегородка приемной не доходила до потолка, и я имел возможность дословно прослушать разговор на русском языке о политическом положении, который вели за перегородкой какие-то деятели 3-го Интернационала. Они сначала говорили о НЭПе, были им очень недовольны и признавали весьма опасным влияние хозяйственной деятельности на психологию партийцев. Затем они перешли к обсуждению перспектив социальной революции за границей. Они считали революцию в Болгарии, где тогда правил Стамбулийский, вероятной, но не усматривали в этом большой пользы для дела мировой революции. Шансы социальной революции в Германии они после долгого обсуждения признали весьма слабыми. После этого перешли к обсуждению положения в Италии и признали его весьма благоприятным для революции. Они рассчитывали, что в самое ближайшее время 3-й Интернационал получит прочную опору в Италии, чтобы с ее помощью революционизировать всю Европу. Через год я читал в Берлине о походе Муссолини на Рим.

ДОБАВЛЕНИЕ К ПРИМЕЧАНИЮ Б.Д. БРУЦКУСА ² НА с. 34

Пророческое стихотворение Лермонтова:

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Р.Гуардини

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

(Продолжение. Начало в №265)

Иван Карамазов

Что же представляет собой тот своеобразный человек, чей внутренний мир порождает сложное сочетание прозрения и душевного хаоса, запечатленное в поэме?

Иван – первый сын старого ростовщика Федора Карамазова и его второй жены Софьи Ивановны.

О его родителях и о том, что он от них унаследовал, надлежало бы поговорить подробнее, чем мы можем позволить себе это здесь. Его отец, вначале – нахлебник у богатых людей, пытается заглушить мучительное чувство

унижения шутством, притом столь насильственным, что это нередко ведет к настоящим пароксизмам. Со временем он становится отчаянным подлецом, не знает угрызений совести на пути к деньгам; в нем развивается циничная чувственность, готовая довольствоваться любой юбкой и достигающая в то же время какой-то отталкивающей утонченности. Однако он неглуп, и его слова не лишены подчас глубины, как это нередко бывает у Достоевского, вкладывающего истину в последней инстанции в уста именно таких людей, обычные разглазлования которых не позволяют предполо-

жить в них способностей такого рода. Всю степень его падения наглядно демонстрирует омерзительное надругательство Федора Павловича над спящей юрдовкой по имени Лизавета Смердящая (этим он хотел угодить подвыпившей компании). Рожденный ею ребенок и есть четвертый из "братьев", Смердяков, зловещая фигура которого послужит затем исходным пунктом трагедии. Еще невыносимее та садистская нарочитость, с которой Федор провоцирует и смакует вызванные его распущенностью истерические припадки его второй жены Софьи – одной из представительниц целого ряда "кротких, тихих" героинь Достоевского, носящих имя Соня. Таковы, следовательно, родители Ивана.

О нем самом в романе говорится следующее: "...о старшем, Иване, сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что... отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно... Этот мальчик очень скоро, чуть не в младенчестве (как передавали по крайней мере), стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению". Поступив в университет, он "даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом – может быть, из гордости, из презрения к нему, а может быть, вследствие холодного здравого рассуждения, подсказанного ему, что от папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержки не получит. Как бы там ни было, молодой человек не потерялся нисколько и добился-таки работы, сперва уроками в двугривенный, а потом бегая по редакциям газет и доставляя статьи в десять строчек об уличных происшествиях, за подписью "Очевидец". Статьи эти, говорят, были так всегда любопытно и пикантно составлены, что быстро пошли в ход".

Далее следует нечто, заставляющее нас насторожиться: "...в... последнее время... Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и неспециалистов, и, главное, по предмету, по-видимому, вовсе ему не знакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись и с своей стороны аплодировать. В конце концов некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и

насмешка" (Б.К. 18).

В том разговоре с братом, о котором уже шла речь выше, обнаруживается нежная сторона этого человека:

– Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша?

– Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя: Иван-могила. Я говорю про тебя: Иван-загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра!

– Что ж это такое? – засмеялся Иван.

– А не рассердишься? – засмеялся и Алеша.

– Ну?

– А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные двадцатитрехлетние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый, наконец, мальчик! Что, не очень тебя обидел?"

Иван ничуть не задет. Совсем напротив. В порыве откровенности он рассказывает брату о своей вере в жизнь, в людей, которых он любил, в порядок вещей... О том, как равнодушен он к окружающему миру, как дороги ему "клекие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо".

Дороги ему и великие судьбы, и примечательные деяния людей. Он хочет поехать в Европу: "...и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что, я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними".

Это – бьющая ключом жизнь, которая поднимается из жарких глубин человеческого существования, стремясь влиться в общий поток существования: "Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинеи, Алешка, аль нет?..

– Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить – прекрасно ты это сказал. И рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется. – воскликнул Алеша. – Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

– Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

– Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится" (Б.К. 268–269)

Это было бы сильно и много обещало, если бы не было слишком сильно. Ведь здесь присутствует и нечто иное: цербер сознания, бдительный следящий за тем, как бы не было, чего доброго, обмануто это доверие. Эта жизнь не

вполне уверена в себе самой. Она не ощущает своей органической связи с сердцем, сообщаемым ей выносливость и творчество. Отдельные ее компоненты могут, нарушая единство, силой захватывать власть, – скажем, стихийная сила и жадность чувств и страстей – и их антипод, холодный рассудок, обретающий контуры именно тогда, когда эмансипируется “плоть”. Вычленение одного сопровождается обособлением другого; невольно вспоминается триединство сатанинских голов на рисунке Маттиаса Грюневальда, изображающем дьявола... Воля к жизни ощущает угрозу, стремящуюся расшатать веру в воссоединяющую, неколебимую силу первооснов, и готовит себя к существованию в условиях обособлений такого рода: “Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту истступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется... Черта-то она отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая?” (Б.К. 268).

И если то, что заложено в инстинктах зверя, в дебрях первобытного леса, в буре и вулкане кажется в какой-то мере “чистым”, не участвующим в противоборстве добра и зла, то применительно к человеку и его личности оно становится проявлением зла. Таковы первобытные силы “карамазовской природы”, вычлененные из сферы внутреннего, из области сердечного тепла и именно поэтому “стихийно”, безлично, неуправляемо пронесшиеся сквозь человека.

Их можно назвать “подлыми”... Слово это выдает Ивана с головой! Правда, он оказывает сопротивление подобной характеристике, но после окончания легенды она всплывает вновь. Вновь выслушав слова Ивана о надвигающемся на него разочаровании, Алеша спрашивает:

– Как же жить-то будешь... С таким адом в груди и в голове разве это возможно?

– Есть такая сила, что все выдержит! – с холодною уже усмешкою проговорил Иван.

– Какая сила?

– Карамазовская... сила низости карамазовской” (Б.К. 308).

Но как же возникает это “низкое”? Что вырвавшаяся на волю “стихийная сила” становится силой разрушения и зла – это понятно, но откуда берется низость? За счет чего она низводится до уровня низости? Можно было бы ответить так: в человеке, являющем собой личность, жизненные силы становятся недостойными, как только сердце перестает служить связующим звеном между ними и духом. Действительно, отстегнутая чувственность, встаю-

щая в один ряд с духовностью или интеллектуальностью после вычленения из целого, – такая чувственность низка. Сатана – это дух бунтарский, а следовательно, нечистый – иными словами, плодящий нечистоту своим воздействием на человека. Но в случае с Иваном дело обстоит еще сложнее, и здесь мы подходим ко второму скверному качеству, порождаемому этой жадной жизни. Она несет в себе нечто ядовитое. Выше мы уже говорили об этом: речь идет о болезненном отношении Ивана к страданию. Он хочет устранить хаос, плодящий страдания, и в то же время смакует жестокость. Чужие страдания служат для него источником мучений – но в то же время он ищет эти муки и наслаждается ими. Питающие его страдания корни жизни – нездоровые корни; отсюда же происходит, собственно, и “низость” Ивана.

Этим же определяются и его связи со страшной сферой сатанинского – той, где возникает и смакуется бунтарское сочетание извращения и зла. В этот контекст и вписываются его отношения с Лизой Хохлаковой.

Здесь уместно адресовать читателю просьбу проявить терпение. Материя, которой мы занимаемся, сложна и запутанна, и для того, чтобы охватить ее целиком, нужно “многослойное” мышление.

Любовь Ивана неоднозначна так же, как и его сущность. Собственно, любовь эта – глубокая и молчаливая – безраздельно принадлежит красивой, гордой и эмоциональной Катерине Ивановне. Если бы она отвечала ему взаимностью, то это могло бы помочь ему излечиться от двойственности природы. Она могла бы способствовать одухотворению и просветлению “стихийной силы” и возрождению его духа под живительным действием зажженного ею сердечного тепла. На самом деле она действительно любит Ивана, но “уговаривает себя”, что чувства ее отданы его старшему брату Дмитрию. Несколько лет назад ее отец, офицер высокого ранга, легкомысленно растратил полковые деньги, и ему грозило бесчестие; тогда она явилась к Дмитрию, служившему в том же полку, с просьбой одолжить отцу денег. То, что она это сделала, и то, как это все выглядело, выходило за рамки простой просьбы. Несмотря на рыцарское поведение Дмитрия, ее чувства были оскорблены, и, чтобы спасти свою гордость, она внушила себе, что любит его. В действительности же они не любят друг друга. Но уязвленная гордость – которая позже, на процессе, порождает неистовство ее свидетельских показаний и ведет тем самым к катастрофическим последствиям – закрывает ей путь к Ивану.

Немудрено, что Иван ненавидит брата. Есть что-то от ненависти темного Каина к светлому

Авелю в том, как Иван, всецело поглощенный своей изматывающей борьбой, ненавидит Дмитрия – одну из немногих богатырских фигур в творчестве Достоевского, человека, сотрясаемого бурями, но в то же время способного принимать их вызов.

Иван любит Катерину, но равнодушен он и к Грушеньке. Правда, об этом можно судить лишь по косвенным признакам; но та встреча обеих женщин, при которой они ведут себя как дикие кошки, ласкающиеся друг к другу, чтобы потом разорвать одна другую в клочки, была бы невозможна, если бы между ними стоял только Дмитрий.

Странные отношения связывают Ивана и с Лизой Хохлаковой. Зловещая фигура, этот полурбенок с извращенными инстинктами, безнадежно избалованный слабохарактерной матерью, надежно защищенный от внешнего мира, внутренне же испорченный, причем не только романами, но и изнутри. Она любит Алешу, страстно стремится к тому, чтобы святое в нем помогло ей вырваться из объятий злого хаоса – и вместе с тем хочет сохранить этот хаос. Она находит бесчестное и постыдное прекрасным – многозначительная параллель с образом Ставрогина из “Бесов”. Но находить разрушительное, извращенное, нечистое “прекрасным” – значит встать на путь, ведущий в сферу сатанинского. Об этом свидетельствуют ее сны, да она и сама чувствует это и ищет помощи у Алеши – но в то же время пишет письмо Ивану, в котором видит родственную душу. Она любит “херувима”, но тянется и к другому, не останавливаясь в своей беспредельной испорченности даже перед тем, чтобы передать письмо Ивану через Алешу. Все это ведомо Ивану – но, презирая Лизу, он каким-то образом удерживает ее около себя...

Сердце, запутавшееся в собственных противоречиях.

Иван ненавидит своего отца. Более того, отец внушает ему омерзение. Но и это чувство не равнозначно тому отталкиванию, которое ощущает, скажем, Дмитрий, опасаящийся, что при виде отвратительного старика он может потерять самообладание и наброситься на него. Иван же, по слухам, поселившись в доме отца, много месяцев подряд находился с ним в самых дружеских отношениях. Правда, отец знает им цену; недаром он упоминает “в подпитии”, что во взглядах Ивана сквозят недоверие и злоба. И тем не менее от отца к сыну тянется незримая нить.

Двойственность натуры Ивана сказывается и в его отношении к Смердякову, которому отведена в романе едва ли не самая выявленная суть. Он призван служить столь же ярким, сколь и отталкивающим воплощением “низости”, элемент которой подспудно присутствует

в семье Карамазовых. Это существо, в отношении которого иногда не знаешь, человек он, амфибия или злой гном, в котором нет ничего доброго и радостного. Все в нем холодно, скользко, сварливо, изломано, искривлено. Он серьезен, но так, что не знаешь, что он, собственно, берет всерьез. Он неглуп, но его манера проявлять свой ум теряет смысл так, что по спине начинают ползать мурашки. Тем не менее, и он мечтает выкарабкаться, начать новую жизнь. Преступление должно помочь ему в этом; добытые таким образом три тысячи предназначаются для того, чтобы начать собственное дело за границей, – скрытый намек на Ивана, намеренного так же употребить свои три тысячи, полученные в наследство от отца! Быть может, только в этом ракурсе и можно разглядеть какие-то живые черты в образе Смердякова. Достаточно припомнить хотя бы то странное выражение внимания и страха, с которым он смотрит на Ивана, впервые посвятив его в свои планы: “Все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное: ‘Не скажешь ли, дескать, еще чего, не прибавишь ли’, так и читалось в его пристальном, так и влившемся в Ивана Федоровича взгляде” (Б.К. 321).

И – страшная безнадежность, присутствующая в их последнем разговоре перед его самоубийством...

Разве не странно, что Иван симпатизирует и этому человеку? Что он часто общается с ним и, невзирая на все свое высокомерие, предоставляет “лакею” странные свободы? Не создается ли впечатление, что аристократ находит тайное удовольствие во встрече с демоническим в его омерзительнейшей форме, – точно так же, как истинно прекрасные существа поддаются иногда под власть извращенных уродцев?

И вот что следует добавить.

Иван не может свести все эти противоречивые устремления воедино. Ему не дают покоя трещины в здании бытия, но он не в состоянии замазать их: для этого нужна близость сердца, излучающего любовь и силою этой любви преобразующего. В итоге Иван возводит факт существования трещин в тот принцип, на котором строится бытие.

Происходит это именно в той области, где заявляет о себе глубочайший конфликт его жизни. Иван преисполнен интенсивного высокомерия, порождаемого одиноким, отчужденным, выхоленным духом. Это высокомерие играет в сфере духовного ту же роль, что и “неистовая стихийная сила” в мире страстей, роль силы, довлеющей себе самой. В то же время его терзает жгучее чувство собственной неполноценности. Таким образом, он живет в разладе с самим собой – в невыносимом, мучитель-

ном разладе. Стремясь к превосходству, он в каком-то смысле не может подавить в себе лая – именно на этом и ловит его Смердяков, именно отсюда и проистекает бессилие Ивана по отношению к этому последнему! Решающим становится для него один-единственный вопрос: удастся ли гордости одержать победу над комплексом неполноценности и заставить его умолкнуть?²

С этих позиций надломленность бытия представляется ему неоспоримой. Разумеется, эту надломленность ощущает и человек иного склада. Но он пытается найти в глубинах своей души те силы единения, которые способны преодолеть хаос, страдание, зло, грех. Он уповает на их преодоление спасительной и врачующей милостью Божией. Каким-то образом он нащупывает то, что лежит по другую сторону всех и всяческих противоречий. "Верующим женщинам" и обоим Сонам это удается благодаря неосознанному героизму их самопожертвования, странник Макар и старец обязаны этим силе единения и просветления, излучаемой купленным сердцем; Алеша почерпнет это в свое время из истоков своей ангельской сущности. Иван же не хочет. Он не отрицает, что несовершенство бытия будет однажды преодолено любовью Божией. Он требует, чтобы справедливость восторжествовала уже здесь, на земле, а так как это невозможно, – он знает это, а потому и выдвигает это требование, – то он использует несправедливость для нескончаемого обвинения Бога: мир создан Богом неправильно. Более того, в этом обвинении он идет еще дальше: Бог просто-напросто не сумел создать мир как следует. Он Сам несет в Себе некий разлад... Таким образом, мир обречен на несовершенство. Но констатации этого рода свидетельствуют о желании посрамить Бога, представить Его беспомощным, обвинить в слабости, произволе – а может быть, и в худшем.

Итак, это бунт. Не атеизм, а нападение. Собственно, Иван не отрицает Бога (хоть вера его, как свидетельствует хотя бы разговор с дьяволом, более чем сомнительна), но начинает кампанию против Него, возводя тем самым свой душевный надлом в абсолют. Тот комплекс неполноценности, о котором мы говорили выше, преодолевается по-настоящему только смирением, раскрепощающим сердце и прокладывающим дорогу любви; бунтарство же идет по плохому пути, стремясь с лихвой компенсировать этот комплекс непосильным, надрывным противостоянием Богу.³

Во время знаменательной беседы у старца Миусов излагает тезис Ивана, согласно которому с уничтожением в человеке веры в собственное бессмертие "в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая си-

ла, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено. "После этого старец спрашивает: "Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякания у людей веры в бессмертие души их?" Иван отвечает: "Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия". Старец: "Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны!" – "Почему несчастны?" – улыбнулся Иван Федорович. – "Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе" ".

Очевидно, в каком-то смысле Иван верит в Бога, но стремится лишить Его той прерогативы Божественного, согласно которой Его суть и мощь находят себе выражение в нравственном долге. Добро не есть нечто, стоящее вне Бога, но Он Сам; поэтому Его господство простирается и на сферу нравственного. В своем "бунте" Иван не заходит настолько далеко, чтобы претендовать на произвольное разграничение добра и зла; однако он присваивает себе право – в качестве исключительной личности, для которой закон не писан, – пренебрегать этим разграничением и самостийно творить зло или разрешать его творить.

Иван и Смердяков

Выше уже говорилось о странных отношениях Ивана с его полуродным братом Смердяковым. Если, однако, отвлечься от того, что не так-то и легко сформулировать, то можно сказать, что их союз возник на вполне конкретной основе. Если Смердяков исполнен холодной ненависти по отношению к человеку, который столь страшным образом послужил первопричиной его жалкого существования, то в чувствах Ивана к отцу преобладает ненависть, смешанная с отвращением и презрением. Вот то, что их объединяет. Но Смердяков сильнее; он черпает свою силу из внечеловеческого зла.

Ненависть Ивана к отцу не знает границ. Как-то раз, в дикой сцене, Дмитрий, вне себя от ревности, бьет старика. Иван вмешивается и оттаскивает брата прочь.

"– Черт возьми, если б я не оторвал его, пожалуй, он бы так и убил. Много ли надо Езопу? – прошептал Иван Федорович Алеше.

– Боже сохрани! – воскликнул Алеша.

– А зачем сохрани? – все тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. – Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!" (Б.К. 165).

Иван хочет, чтобы отца не стало; он хочет, чтобы преступление совершил его брат, которого он тоже ненавидит. Все это можно было бы еще понять, если бы речь шла только о ди-

ких желаниях сердца, раздираемого страстями. Но Иван возводит зло, порождаемое сердцем, в категорию духа. Он делает из этого принцип. Вспомним его разговор с Алешей:

– Брат, позволь еще спросить: неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей: кто из них достоин жить и кто более не достоин?

– К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчет права, так кто же не имеет права желать?

– Не смерти же другого?

– А хотя бы даже и смерти? К чему же лгать пред собою, когда все люди так живут, а пожалуй, так и не могут иначе жить" (Б.К. 167–168).

Обратимся теперь к тем странным, трудно постижимым событиям, которые происходят между Иваном и Смердяковым.

В упоминавшемся выше разговоре Иван открылся перед Алешей, посвятив его в свою внутреннюю жизнь и в планы на будущее. Он хочет-де поехать в Европу, чтобы "заступить на новый, совершенно неведомый путь, и опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная, на что" (Б.К. 310). Теперь он возвращается домой после встречи с братом. Он подавлен. Его мучит не только страх перед "новым и неведомым", но и нечто другое – "тоска до тошноты". "Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид; это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет вроде как торчит что-нибудь иногда пред глазом, и долго, за делом или в горячем разговоре, не замечаешь его... Наконец Иван Федорович, в самом скверном и раздраженном состоянии духа, достиг родительского дома и вдруг, примерно шагов за пятнадцать от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило.

На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков и что именно – этого-то человека и не может вынести его душа" (Б.К. 310).

Смердяков "сидел в душе его"... В первое время Иван проявлял интерес к Смердякову. Он "сам приучил его говорить с собою всегда, однако, дивясь некоторой бестолковости или, лучше сказать, некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое "этого созерцателя" могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить". Постепенно Смердяков стал вызывать его раздражение, и он начал ненавидеть его... Семейная ситуация накалялась все больше, и

Смердяков говорил с ним также и об этом.

"...но хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Даже подивиться можно было нелогичности и беспорядку иных желаний его, поневоле выходивших наружу и всегда одинаково неясных. Смердяков все выспрашивал, задавая какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего – не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное". На фоне этого растущего отвращения Ивана к лакею и происходит эта встреча:

"С брезгливым и раздражительным ощущением хотел было он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую испитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: "Чего идешь, не пройдешь, видишь, что обоим нам, умным людям, переговорить есть чего!" Иван Федорович затрясся:

'Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!' – полетело было с языка его, но, к величайшему удивлению, слетело с языка совсем другое:

– Что батюшка, спит или проснулся? – тихо и смиренно проговорил он себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел с уверенностью, почти строго.

– Еще почивают-с, – выговорил он неторопливо. ('Сам, дескать, первый заговорил, а не я'.) – Удивляюсь я на вас, сударь, – прибавил он, помолчав, как-то жеманно опустив глаза, выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированной ботинки" (Б.К. 313).

Так начинается борьба между этими двумя людьми. Иван ненавидит это создание, но в то же время не может от него отделаться. Зная это, Смердяков впадает в бесстыдно-доверительный тон, приводящий Ивана в ярость. Однако Иван говорит и действует не так, как следовало бы ожидать; создается впечатление, что его слова и поступки диктуются не эмоциями, а подсознательным ощущением связи со Смердяковым. Смердяков как бы лишает его

свободы воли. При этом он совершенно недвусмысленно дает понять, в чем суть их сообщества и что их объединяет: эта основа – ненависть к отцу. Однако общность их коренится, видимо, еще глубже; она заложена в том факте, что каждый из них поставил себя чем-то сокровенным вне Закона Божиего: у Смердякова это – нечто невыразимое, проистекающее, как кажется, одновременно из магического и из сатанинского, у Ивана – его “бунт”. С бьющимся сердцем читаешь, как Смердяков с его нечеловеческим спокойствием – за которым таится столь странное “волнение”... что за психологизм! – излагает Ивану свой план: он пользуется доверием старика и знает его привычки, знает, что тот надеется на появление Грушеньки и что ревность к отцу почти уже свела с ума Дмитрия. Он посвящен во все детали подготовки этого желанного визита; он позаботился и о том, чтобы Дмитрий, узнав их, пришел в полную ярость, и о том, чтобы Дмитрий смог проникнуть в закрытый со всех сторон двор, где он наверняка столкнется с отцом. Сам Смердяков намерен симулировать приступ эпилепсии, чтобы не выступать в качестве свидетеля, и дает понять Ивану, чтобы тот в преддверии событий уехал в Чермашню, окрестную деревню. Иван чувствует, что его втягивают в страшное сообщничество:

“Что-то как бы перекошилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел.

– Так зачем же ты, – перебил он вдруг Смердякова, – после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. – Иван Федорович с трудом переводил дух.

– Совершенно верно-с, – тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально, однако же, следя за Иваном Федоровичем.

– Как совершенно верно? – переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами.

– Я говорил, вас жалючи. На вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил... чем у такого дела сидеть-с... – ответил Смердяков, с самым открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича” (Б.К. 320).

Иван встает, хочет пройти в калитку, но вдруг останавливается и поворачивается к Смердякову. “Произошло что-то странное: Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусив губу, сжал кулаки и – еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот по крайней мере это заметил в тот же миг, вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку.

– Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь

это знать, – завтра рано утром – вот и все! – со злобою, отдельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову” (Б.К. 321).

Иван не властен над собою...

А потом следует глубоко психологичная сцена, когда он поздней ночью, почти уже утратив самоконтроль, идет на поводу у собственных инстинктов:

“...мы не станем передавать все течение его мыслей... – повествует рассказчик. – И даже если б и попробовали что передать, то было бы очень мудрено это сделать, потому что были не мысли, а было что-то очень неопределенное, а главное – слишком взволнованное. Сам он чувствовал, что потерял все свои концы. Мучили его тоже разные странные и почти неожиданные совсем желания, например: уж после полночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и избить Смердякова, но спросили бы вы, за что, и сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности, кроме той разве, что стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обидчик, какого только можно приискать на свете. С другой стороны, не раз охватывала в эту ночь его душу какая-то необъяснимая и унижительная робость, от которой он – он это чувствовал – даже как бы терял вдруг физические силы. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавистное щемило его душу, точно он собирался мстить кому. Ненавидел он даже Алешу, вспоминая давешний с ним разговор, ненавидел очень минутами и себя. О Катерине Ивановне он почти что и думать забыл и много этому потом удивлялся, тем более что сам твердо помнил, как еще вчера утром, когда он так размашисто похвалился у Катерины Ивановны, что завтра уедет в Москву, в душе своей тогда же шепнул про себя: ‘А ведь вздор, не поедешь, и не так тебе будет легко оторваться, как ты теперь фанфаронишь’ “. Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал – подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал – конечно, и сам не знал. Этот “поступок” он всю жизнь свою потом называл “мерзким” и всю жизнь считал, глубоко про себя, в тайниках души своей – самым подлым поступком из всей своей жизни.⁵ К самому же Федору Павловичу он не чувствовал в те минуты никакой даже не-

нависти, а лишь любопытствовал почему-то из всех сил: как он там внизу ходит, что он примерно там у себя теперь должен делать⁷, предугадывал и соображал, как он должен был там внизу заглядывать в темные окна и вдруг останавливаться среди комнаты и ждать, ждать – не стучит ли кто. Выходил Иван Федорович для этого занятия на лестницу раза два" (Б.К. 322–324).

И вот по велению рока сам старик настаивает на том, чтобы Иван съездил по неотложному делу в Чермашню! Злобно подивившись этому фатальному стечению обстоятельств, Иван все же остается верен своему решению уехать в Москву и таким образом умыть руки. Но затем происходит прямо-таки мистическая сцена:

"Провожать вышли все домашние: Смердяков, Марфа и Григорий. Иван Федорович подарил всем по десяти рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер.

– Видишь... в Чермашню еду... – как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом.

– Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, – твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича."

Иван отправляется в путь; беспричинная грусть чередуется в душе его с беспричинной бодростью... И вдруг, после первой перемены лошадей:

"Почему с умным человеком поговорить любопытно, что он этим хотел сказать? – вдруг так и захватило ему дух. – А я зачем доложил ему, что в Чермашню еду?"

Поездка продолжается; но тут он внезапно меняет свое намерение: "В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. Прочь все прежнее, конечно с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!"

Но сердце не обманешь. "...Вместо торга на душу его сошел такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь; вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся.

– Я подлец! – прошептал он про себя" (Б.К. 327–328).

И он был прав. Адресованное Смердякову "В Чермашню еду" означало: действуй! И сердце его это знало.

Он действительно выступил в роли "Великого Инквизитора", сверхчеловека.

Но что это за жалкий сверхчеловек! Он так же мелок, так же беспомощен и раздираем противоречиями, как Раскольников. Путь его гибелен.

Недаром Раскольников говорит себе, что он все же не Наполеон, а вошь.

Разговор с чертом

Бунт Ивана против Бога и созданного Им мира, его аморальное стремление преступить в качестве сверхчеловека границу между добром и злом и избавиться таким образом от мучительного комплекса неполноценности, его тяготение к демоническому началу, представленному в Лизе Хохлаковой и в его полуродном брате Смердякове, – все это находит себе концентрированное, мистическое воплощение в 9-й главе II книги романа. Глава носит название "Черт. Кошмар Ивана Федоровича".

Ей предшествует третий и последний разговор со Смердяковым, во время которого тот дает понять, что потерял всякую надежду на выход из своей потерянности. Им овладевает страшное, холодное отчаяние. Иван проявляет решимость сказать на судебном заседании, назначенном на следующий день, правду, – иными словами, засвидетельствовать, что Смердяков – убийца. С чувством облегчения Иван идет домой, но по приходе чувствует сильное недомогание. У него жар; однако здесь заявляет о себе болезнь, коренящаяся глубже – в его духе, в его сердце.

"Усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противоположной стены диван. Его, видимо, что-то там раздражало, какой-то предмет, беспokoило, мучило".

"Там вдруг оказался сидящим некто... Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, *frisait la quantaine*⁸, как говорят французы, с еще не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды... Похоже было на то, что джентльмен... очевидно выдавший свет и порядочное общество" обратился "вроде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный хара-

ктер" (Б.К. 358–360).

В беседу, которую гость ведет в вежливых, благожелательных, заговорщических тонах, нередко вплетается, тем не менее, нотка превосходства, иронии, а подчас и откровенной издевки. Он стремится убедить Ивана, но ощущаемый в подтексте цинизм снова и снова ставит все под вопрос. Он пробуждает сомнения и вновь усыпляет его. Он говорит о Боге и потустороннем мире с неким романтическим скепсисом и в то же время так, что создается впечатление, будто бы он хочет обрести способность к вере. Но как только в словах его начинает звучать эта вера, циничное замечание не оставляет от нее камня на камне...

Отождествляя себя с "ним", он вместе с тем не дает возможности судить о том, существует ли "он" на самом деле. "Я беден, но... обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я ладный ангел. Ей-Богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно – о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен – не смейся, пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта – это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал – войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-Богу так. Тогда предел моим страданиям" (Б.К. 363–364).

Глубоко проникает здесь писатель в состояние падшего духа, отошедшего от Бога и устремляющегося к цели, которой он никогда не сможет достичь, и тем самым падающего в Ничто. Претерпевая определенное развитие, дух этот, однако, не приходит к финишу; отколовшись от своей прежней сущности, он все еще идентичен ей, и ни тоска, ни отчаяние не способны побороть его скепсис.

Он признает, что примкнуть к хору, поющему Богу "Осанна", раствориться в общем экстазе означало бы для него спасение. Тогда он вновь обратился бы к Богу, освободился бы из

плена отрицания, обрел бы реальность и блаженство. Но тут же он вновь идентифицирует себя с тем идущим изнутри отрицанием, которое он – пусть в иронической форме – возводит в основной принцип бытия, чтобы нивелировать в итоге различие между добром и злом, обезличить творение и заставить его усомниться в Боге:

"У меня от природы сердце доброе и веселое... Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен "отрицать", между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет "отделения критики"? Без критики будет одна "осанна". Но для жизни мало одной "осанны", надо, чтобы "осанна"-то эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязываюсь, не я сотворял, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие – все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл, наконец, как и называть себя. Ты смеешься... нет, ты не смеешься, ты опять сердишься. Ты вечно сердишься, тебе бы все только ума, а я опять-таки повторяю те-бе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить" (Б.К. 367–368).

И дальше: "Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопи-

ющих: "Осанна", и громовой вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: "Осанна!" Уже слетало, уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл – о, самое несчастное свойство моей природы – удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, – подумал я в ту же минуту, – что же бы вышло после моей-то "осанны"? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завижду чести жить на шаромыжку, я не честолобив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, в чем дело, рявкну "осанну", и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться" (Б.К. 374–375).

Иван страшно возбужден. "...это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз, или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, и авось ты испаришься" .

Начинается ожесточенный поединок. Иван хочет одолеть непрошеного гостя, называя вещи своими именами: " 'Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак... Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться' " (Б.К. 362). Черт выдвигает в свою очередь один аргумент за другим, чтобы доказать, что Иван все-таки верит в него. Но точно так же, как его собственная, сатанинская реальность вновь и вновь предстает в обличье мнимой, фантазмагорической действительности, он сам тут же подвергает сомнению свои доводы Ивану: " 'Я хоть и твоя галлюцинация, но... говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар и больше ничего' " (Б.К. 365).

"По азарту, с каким ты отвергаешь меня, –

засмеялся джентльмен, – я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

– Нимало! На сотую долю не верю!

– Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десяти-тысячную...

– Ни одной минуты! – яростно вскричал Иван. – Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! – странно вдруг прибавил он.

– Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.⁹

– Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты есть.

– Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас же меня в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры¹⁰ брошу, а из него вырастет дуб – да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в "отцы пустынники и в жены непорочны" пожелаешь вступить; ибо тебе очень, очень того втайне хочется, акриды кушать будешь, спастись в пустыню потащишься!

– Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

– Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!" (Б.К. 371–372).

И в конце концов все смешивается в хаос из здоровья и болезни, истины и обмана, злобы и ужаса.

Итак, покровы сорваны! Все, что живет в Иване, говорит из речей гостя.

Здесь представлено титаническое начало, оперирующее космическими масштабами и миллиардами лет – и в то же время страстное стремление воплотиться в семипудовую купчиху с ее добропорядочным существованием и суеверной верой... Лакей здесь неразрывно сросся со сверхчеловеком, скепсис которого несколько не мешает ему считать зло неотъемлемым фактором мироздания и с трагическим цинизмом отводить собственному отчаянию должное место в структуре бытия, какое-де только так и может реализоваться, – парадоксально идеалистический сатанизм!"

Гость-приживальщик, незримое присутствие Федора Павловича, продолжающего себя в Иване... Недаром ложь, самомнение, претенциозность спутываются здесь в такой клубок, что в какие-то минуты нельзя избежать принимаемых "брани и пинка". Иван знает это. И если уже сам дьявол и его умонастроение несут человеку крайнюю, позорнейшую степень бесчестия, то для Ивана все это обретает особую горечь: он ощущает в себе присутствие того лакея, которому адресованы тирады гостя. Именно это и бесит Ивана. Его порывы ищут себе выхода, но что-то мешает им попасть в "яблочко", мешает вылиться в усилие воли, в реальность. В последнюю секунду на их пути встает нечто дерзкое, бунтарское – и линия виляет, уводя в сторону... Жажда "вечной осанки", то есть освобождения от всех и всяческих зол и бед безраздельной отдачей себя любви и тайне Божией соседствует здесь с протестом, расхолаживанием, ужесточением; приятие мира таким, каков он есть – с возмущением по поводу того, что он таков, и в то же время с тайным, сладострастным желанием, чтобы он таким и оставался, ибо только это и делает возможным бунт с его разгулом... Тут налицо склонность к вере, которой, однако, не суждено стать верой истинной... Тут неверие, которое, однако, никогда не произносит однозначного "нет"... Тут тайное тяготение к жизни "отцов пустынных и жен непорочных", чего даже "очень хочется" – и в то же время циничная, грязная сцена исповеди...

Тут раскрывается то, что живет в Иване, весь хаос его беспомощности. Невольно вспоминаешь: "Иван-сфинкс", "Иван-могила"...

Очевидно, вряд ли следует так уже сразу поднимать на щит творение этого человека, превознося его – в пику антихристианскому Риму – как воплощение подлинно христианского духа!

Страшная альтернатива, перед которой стоит Иван, заключается в следующем: все свои силы он употребляет на то, чтобы лишить ужасное видение реальности. Ведь сатанинское совершенно невыносимо, и на борьбу с ним невольно мобилизуются все резервы самообороны. Поэтому он хочет утвердиться в мысли, что гость – это он сам, Иван, его собственная галлюцинация. Тогда видение исчезнет... Но когда визитер говорит: "Признайся, что веришь, ну на десятитысячную", и Иван в ярости кричит в ответ: "Ни одной минуты!", он вдруг прибавляет: "Я, впрочем, желал бы в тебя поверить!" Здесь угадывается, с одной стороны, тоска по вере как таковой, с другой же стороны – и это, пожалуй, еще важнее – страх перед умозаключением, которое напрашивается само собой: ведь если гость действительно не более чем его собственная галлюцинация, то

тогда сам он, Иван, и есть все то омерзительное, с чем он тут сталкивается! Тогда он и есть тот, кто, выйдя за пределы добра и зла, в отчаянии заключил союз со своей злой волей – он сам сатанинский!

Именно в этой связи следует понимать исполненные благодати Божией слова Алеши, о которых уже шла речь выше: "Не ты убил отца, не ты!" И дальше: "Это Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня..." И ненависть действительно прорывается: "Алексей Федорович... С сей минуты я с вамирываю и, кажется, навсегда" (Б.К. 320).

Как-то мы уже говорили об этом: чем вызвана эта ненависть? Что, в сущности, говорит Алеша? Не твоя воля обрела здесь сатанинскую автономию. Не ты, заключив союз со злом, стал инициатором преступления. Но вместе с тем это значит и вот что: ты – не Великий Инквизитор, который, окостенев в бунтарстве и в то же время – в отчаянии, берет мир из десницы Божией, чтобы повелевать в нем добром и злом. Будь ты им, ты действительно служил бы прибежищем сатанинскому. Но ты вовсе не таков! Ты совсем не сверхчеловек. Ты – всего лишь обычный смертный, соvrащенный дьяволом и потому согрешивший. Признать это – значит отказаться ото всех титанических притязаний и вступить на путь раскаяния, но именно такая перспектива и ожесточает Ивана. Спаситься можно только в том случае, если на смену самоутверждению придет смирение, в котором и заключена истина. Но отчаянная гордость Ивана, превозмогающая его сознание собственной неполноценности, не допускает этого. Лучше уж гибель!

Алеша все-таки приходит к брату, и видение исчезает. Он приносит весть о самоубийстве Смердякова, и Иван, в полубезумном состоянии после всего пережитого, ищет у него прибежища.

Алеша верно угадывает предназначение кошмарных видений: довести брата до полного отчаяния и погубить его. На это намекнул гость, да Иван и сам чувствует, как реальна опасность: "Нет, я не повешусь (как Смердяков, – о, как силен соблазн! – Р.Г.). Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишить себя жизни, Алеша! От подлости, что ли? Я не трус. От жажды жить! Почему это я знал, что Смердяков повесится? Да, это он мне сказал..." Нет, он этого не говорил. Но Иван ощутил причинно-следственную связь, – ту самую, которая ставила под угрозу и его собственное существование!

И вновь напоминает о себе страшная альтернатива:

"Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что

я люблю твое лицо? А он – это я, Алеша, я сам. Все мое низкое, все подлое и презренное! Да, я “романтик”, он это подметил... Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, – ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван, – я бы очень желал, чтоб он в самом деле был он, а не я!

– Он тебя измучил, – сказал Алеша, с состраданием смотря на брата.

– Дразнил меня! И знаешь, ловко, ловко: “Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги!”¹² Это он говорил, это он говорил!” И сразу – целительное слово: “А не ты, не ты? – ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. – Ну и пусть его, брось его и забудь о нем!” (Б.К. 232–233).

И вот обнажается нерв, сокрытый в самой сокровенной глубине, – там, где так зловеще срослись воедино гордость и чувство собственной неполноценности:

– Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был дерзок, Алеша, – с содроганием обиды проговорил Иван. Но он клеветал на меня, он во многом клеветал. Лгал мне же на меня же в глаза“. О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца...”

– Это ты говоришь, а не он! – горестно воскликнул Алеша, – и говоришь в болезни, в бреду, себя мучая!

– Нет, он знает что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь, ты станешь и скажешь: “Это я убил, и чего вы корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю”. Это он про меня говорит, и вдруг говорит: “А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался! ...Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь – это уж сам угадай, вот тебе загадка!” Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. Он меня трусом называл, Алеша! Le mot de l'énigme¹³, что я трус! “Не таким орлам воспарять над землей!”¹⁴

Вновь поднимается в нем иступленная ненависть: “Идешь, чтоб тебя похвалили” – это зверская ложь! И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга¹⁵ ненавижу, и изверга ненавижу! Не хочу спасать изверга, пусть сгниет в каторге! Гимн запел! О, завтра я пойду, стану перед ними и плюну им всем в глаза!” (Б.К. 381–383).

Здесь явно слышатся мотивы из “Великого Инквизитора” и обрамляющей его беседы в трактире: не-эвклидово устройство мира... его глубокая порочность... сомнительное отношение к нему Бога... обоснованная

“необходимость” зла в мире... тоска по великой святости отшельников и девственников... отказ от всеобщей “осанны”... скепсис отчаяния при мысли о спасении – мучительное чувство утраты...

Смысл легенды

Быть может, теперь уже стало яснее, что означает легенда о Великом Инквизиторе. Лишь на поверхностный взгляд она бросает вызов Риму, ратую за истинное христианство, за дух свободы и любви. В сущности же легенда служит целям бескомпромиссного разоблачения.

Смысл ее в том, чтобы охарактеризовать Ивана – а заодно и его отца, и его братьев. Но “братья Карамазовы” – Дмитрий, Иван, Алеша и Смердяков – вместе с их отцом Федором и их матерями Аделаидой Ивановной, Софьей Ивановной и Лизаветой Смердяковой – что за галерея! – все вместе они суть не что иное, как совокупность людей, семья человечества! Здесь представлен человек – во всем своем величии и во всем ничтожестве, со всем светлым и темным – прежде всего темным! – что в нем есть.

Происходящее в этих людях типично для всех! И судебный процесс, описание которого занимает чуть ли не половину романа, – это такой процесс, в котором человек выступает и как обвиняемый, и как обвинитель, и как защитник, и как свидетель, и как судья. А итог всего этого таков, каким он обычно бывает, когда “судят” люди: несправедливый приговор, плод недомыслия. Ибо уже сам характер смертельного ранения мог бы послужить незамедлительным ответом на вопрос, был ли причиной смерти удар пестиком, нанесенный Дмитрием. Но вместо того, чтобы провести соответствующее исследование, они бесконечно – на протяжении сотен страниц – разглагольствуют на этико-психологические темы! “Великий Инквизитор” призван разоблачить Ивана и ему подобных – человека и человечество.

Место “Легенды” в общем круге проблем

Пройдя вместе с нами путь довольно сложных рассуждений, читатель может сам решить, насколько обоснован наш тезис, согласно которому истинный смысл легенды не исчерпывается содержащейся в ней полемикой Восточной Церкви с Римом. То, что эта полемика вкладывается здесь в уста человека, в сущности лишнего веры, человека, выступление которого в защиту своей церкви – в памятной газетной статье – было воспринято как насмешка, несущественно, что вполне в духе Достоевского; в

этом случае наступление на Рим и католичество скорее остались бы на фоне человеческой несостоятельности. Но если рассматривать роман как целое, то нельзя не прийти к убеждению, что смысл его не сводится к этому слишком уж явному, почти банальному аспекту, ибо в остальном церковь не играет в романе вообще никакой роли. Если же подойти к "Легенде" с позиций только что рассмотренных человеческих связей и отношений, то она сразу же займет в книге одно из важнейших мест.

Правильность такого подхода подтверждается и тем, что единственный "слушатель", которого Иван знакомит со своей поэмой, Алеша, почти совсем не реагирует на ее полемический смысл, а только на то, как раскрывается в ней Иван; именно это последнее и определяет степень его ужаса.

Какое же место занимает все это в комплексе вопросов, рассмотренных в предыдущих главах?

Может показаться, что исходная точка нашего – чуть ли не полемического – анализа смысла легенды о Великом Инквизиторе не имеет прямого отношения к теме. Однако ретроспективный взгляд подтверждает ее глубокую связь с проблематикой целого. Та неразрывная цепочка, которая шла от народа к старцам и звеном которой, хоть и в виде исключения, оказывается Алеша, здесь обрывается. Ивану эта связь уже чужда, он из нее выпал. Он ориентируется только на свой индивидуальный разум и на свою субъективную волю. Он утратил контакт с народом и именно поэтому подпадает под власть такого омерзительного существа как Смердяков. Нарушена и его связь с плодоносящей землей; правда, он ощущает могучие силы природы, но для него она – либо элемент мироздания, либо демонизированная "земляная сила". Во взаимосвязи компонентов бытия он уже не усматривает ни необходимости, ни смысла; это и делает возможным его идею неприятия мира.

Его отношение к Богу типично для человека, который, будучи связан с Ним долгой традицией, сложным переплетением факторов

социологии и культуры, всевозможными душевными нитями, восстает против этой связи. Он больше не способен относиться к Богу с той же непосредственностью, что и народ; но в то же время он отказывается приложить усилия к тому, чтобы создать на другой ступени существования – готовностью, трудом, преданностью, жертвами – новое отношение к Богу. С другой стороны, он не идет и на окончательный разрыв. Его отрицание не столь бесплотно, чтобы просто отпасть, как это происходит с Ракитиным. Но оно и не столь глубоко и однозначно, чтобы обрести такую же органичность, как у Кириллова.¹⁶ Дело усугубляется тем, что этот молодой человек – личность сложная, раздираемая на части многочисленными конфликтами, что он по существу не знал детства, но не завершил еще и перехода во взрослое состояние. Все это служит питательной почвой для своеобразного, половинчатого отношения к Богу, слагающегося из веры – и неприятия сотворенного Им мира и порождающего "бунт".

В целом же Иван живет очень интенсивной жизнью. Напряженность и противоречивость повседневности, нагнетающиеся до болезненного состояния, находят себе выражение в философской и религиозной проблематике, а она, в свою очередь, претворяется в жизненную практику с ее борьбой и страданиями. Таким образом, этот персонаж Достоевского демонстрирует тот кризис религиозного мироощущения и сознания, который проходит красной нитью по всему XIX веку и окончательные выводы из которого делает, видимо, лишь современность.

К этому можно было бы добавить многое – в частности, о соотношении образа Ивана с мыслями и чувствами романтиков, о непризнании моральных ценностей эстетствующим декадансом, *fin de siècle*, о взглядах и мире страстей раннего Кьеркегора и особенно Ницше. Но здесь мне не хотелось бы этого делать. В следующей же главе, посвященной анализу более простых и МАСШТАБНЫХ персонажей – Кириллова и Ставрогина – мы коснемся некоторых из этих вопросов.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Детальное исследование могло бы убедить нас в том, что неоднозначность поведения личности, выражающаяся в ее "шатаниях" между комплексом неполноценности и чувством превосходства, рабской покорностью и бунтарством, тиранией и опроличенчеством, вообще выступает как одна из характернейших черт персонажей Достоевского.

²Проблема Раскольникова.

³Мы совершили бы насилие над Достоевским, если бы попытались положить в основу нашего анализа схему диалектической теологии с ее трактовкой парадоксального. Для этого он мыслит слишком уж не по-германски. То, что взгляды Кьеркегора и его последователей следует считать не столько "специфически христианскими", сколько "специфически нордическими", не нуждается, будем надеяться, в доказательствах. Формула: "Сомнения Ивана, его бунтарство говорят уже сами по себе о том, что ему известно, кто такой Бог, или по крайней мере Его непознаваемость" – подобная формула не вмещает в себя пред-

ставлений Достоевского, подлинно русского писателя, следующего традициям о преображении мысли. Образ Ивана служит Достоевскому не для проникновения в парадоксальные аспекты отношений с Богом, а для демонстрации самовозвышения человека в его бунте против Бога. Формулу для это следовало бы искать не у Кьеркегора, а у Ницше. М.Бакунин говорил, что сатана – прообраз революционера. Он знает, что Бог есть, и все же против Него борется. Достоевский знал эти мысли Бакунина. (Прим. ред.)

⁴Причина этой "обиды" – в том, что Смердяков считает его способным к соучастию в преступлении (причем Иван чувствует, что сам дает ему право так думать), а также в том, что "лакей" в собственном естестве делает его похожим на Смердякова, и тот это знает.

⁵Он страшится преступления, которого "ждет" (точнее говоря, он его санкционирует или хотя бы допускает). Собственно, это – правильная реакция; но он ведь хочет быть "Наполеоном", "Великим Инквизителем"! Именно так должно прийти желанное самоутверждение, завоевание позиций сверхчеловека! Но этот последний не знает страха; собственный же страх Иван воспринимает как признак несостоятельности, неспособности преодолеть в себе заурядного "моралиста", – а это "унижает".

⁶Он ждет убийцу.

⁷В действительности эта холодная деловитость – худшая форма ненависти. Человека, подпадающего под ее власть, уже ничто не может тронуть. Он оказывается в сфере внечеловеческого. Быть может, именно эта, не знающая эмоций объективность больше всего сближает Ивана со сверхчеловеком, с Великим Инквизителем.

⁸"под пятьдесят" (франц.).

⁹...и тем скорее поверил в его существование.

¹⁰Как же, однако, темна такая вера, псевдовера, служащая насильственным прикрытием внутреннего скепсиса! Аскеза без любви, воздержание без чистоты сердца, мистика и мистерия без серьезного различения духов – обманчивый мир, противостоящий подлинной христианской жизни, порождаемой Святым Духом!

¹¹К слову сказать: а мыслим ли вообще феномен аффекта в сфере сверхчеловеческого без опасности потерять себя? Не каждый ли теоретик или программист в этой области – стоит ли он по ту сторону добра и зла, исходит ли из посылки обожествления человека или провозглашает какие-то другие идеи – мучим сознанием собственной неполноценности? Знакомы ли вообще подобные притязания тому, кто живет в спокойном сознании своей силы? Заносчивость и слабость, стремление смазать границы и неопределенность своего бытия – не один и тот же ли это феномен? А четкая очерченность личности и подлинная сила – не несут ли они с собой то смирение, которое есть не что иное, как истина, познанная сердцем истина бытия?

¹²Здесь заявляет о себе последнее, само глубокое стремление.

¹³Отгадка (франц.).

¹⁴Опять последнее отгадка.

¹⁵Брата Дмитрия.

¹⁶Подробнее о нем в следующей главе.

Главный редактор: д-р В. ПИРОЖКОВА

Verantwortlich für den Inhalt: D-r V. Piroschkow

Адрес редакции:

D-r V. Piroschkow, Einsteinstr. 104/III, D — 8000 München 80, Deutschland

Банковский счет: Hypotheken- und Wechselbank, 8 München, Konto Nr. 2760094318

**За статьи и письма, подписанные фамилией
или псевдонимом автора, редакция не отвечает**

Перепечатка разрешается, но с указанием источника

Druck: "Express", Jerusalem